Кр. 9(с19)
К 90

[illegible]

Отступление дебрей

1933 г.

Хабаровск
Партиздат

Р.
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА
КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА
Колич. пред. выдач.

П. Кулыпин.

Отступление дебрей

Под редакцией
В. Вольховского

1933
Хабаровск
Дальпартиздат

ОБЛОЖКА ХУДОЖНИКА ГОРБУНОВА
Технический редактор В. ПИЛЮШИН
Сдано в набор 23 апреля 1933. Подписано к печати 25 августа 1933 г.
Партиздат. Хабаровск № 76
Крайлит № 335 Формат бумаги 72х110 1/32 Об'ем 7,25 печ.листа Зак.№ 760
Знаков в 1 печатн. листе 67840
Тираж 15200 экз.

Тип. Дальпартиздата ул. Л. Толстого 45

ОТ РЕДАКТОРА

О Дальнем Востоке — крае, присоединенном к Советскому союзу на пятилетие позже других, — написано вообще очень мало. Но совершенно нет литературы, которая бы показала хотя бы отдельные участки края в их историческом росте за последнее **советское десятилетие**. И именно потому, что книга П. Кулыгина представляет собой первую попытку заполнить этот, мы бы сказали, большой пробел — она должна привлечь широкий интерес советского читателя. Уже сама тема, не говоря о том, насколько автор сумел справиться с ней, заслуживает этого.

***

Четверть века назад известный литератор-исследователь В. К. Арсеньев, возвратясь со своей группой из горной области Сихотэ-Алиня, написал широко известные книги — «В дебрях Уссурийского края» и «Дерсу Узала». Эти книги являются до сих пор почти единственными материалами для всех, кто интересуется Дальним Востоком. Не будем говорить об отдельных, очень серьезных пороках в работах Арсеньева, как раз этому уделено не мало места в критике. Положительно известно, что он, предпринимая свои смелые путешествия в неизведанные места нового края, был инструментом колонизаторской политики российского самодержавия.

Но бесспорно также и то, что это был крупный художник, талант которого был так восторженно отмечен А. М. Горьким, Фр. Нансеном, Свен Гедином и многотысячной читательской ау-

диторией. Книги Арсеньева пользуются заслуженным вниманием и любовью. Он первый сумел красочно и убедительно рассказать об интереснейшей и разнообразнейшей фауне наименее освоенной части края, о быте немногочисленного населения редких стойбищ и деревушек, разбросанных в дебрях Сихотэ-Алиня.

Но ведь все, о чем писал талантливый литератор-исследователь, было 25 лет тому назад! Как выглядят сейчас бывшие дебри? Что нового внесла наша жизнь в эти места? Попрежнему ли царем дебрей является хищник амба-тигр, удав, двуногий хищник эксплоататор Цай-дун или охотник на «лебедей» и «фазанов»? Четверть века — исторически небольшой срок. Вряд ли многим можно было бы дополнить В. К., если бы не последнее советское десятилетие, внесшее исторически громадные поправки ко всему виденному автором замечательных книг. Именно об этих переменах, о новых советских днях и пишет П. Кулыгин в предлагаемой читателю работе.

Десять лет назад остатки разбитых белых полчищ, не будучи в силах противостоять напору революционной волны, были сброшены в Тихий океан. Ярчайшие представители российского военно-феодального империализма — охотники на «лебедей» и «фазанов», дальневосточные стодесятинники-кулаки были вынуждены очистить насиженные гнезда.

Пролетарий, труженик пришел с единственной целью сделать цветущей эту богатейшую окраину Страны советов — превратить ее в тихоокеанский форпост СССР. Русский, китаец, кореец, нанаец, удэхеец — сотни национальностей единой трудовой семьей, шаг за шагом ведут наступление на остатки разгромленного классового врага, на дикие дебри, заставляя и двуногого хищника, и суровую природу выполнять волю нового хозяина — творца. Крэй, бывший многие десятилетия местом ссылки и национального угнетения, с первых же дней советизации получил сотни и тысячи энтузиастов, сплоченных мудрой политикой большевистской партии. С первых же дней началась великая переделка всей экономики Дальнего Востока. Еще далеко не совершенны и до сих пор часто малопроходимы отдельные места бывших «дебрей», но как неузнаваемо изменился

край! Взять хотя бы Терней, которому Арсеньев посвятил буквально несколько строк по той простой причине, что это было пустынное, почти совершенно незаселенное место. Вот что о нем пишет теперь Кулыгин:

...«Триста миль к Северу до Тернея плюс двести еще дальше от Тернея проехал верхом и прошел, ведя коня в поводу, путями, которыми когда-то прошли Арсеньев и его спутники, и могу теперь донести, что я **нашел неузнаваемый Терней**, ничуть не похожий на старое и единственное описание,—**не умирающий, а цветущий кусок неузнаваемого нашего края.** Что же такое Терней теперь?

Это — открытая с юга бухта, это—широкая сплавная и немного судоходная река, это — два больших села — старое и новое, ставшее нынче весной центром нового Приморского района, о котором, как я убедился, в крае еще и сейчас знают не больше, чем четверть века назад, когда до теперешней северной части района—бухты Нахтату — **ездил Арсеньев.**

Советские годы преобразили Терней. Если тогда, на его трехсотмильной площади по берегу моря и в долинах хребта Сихотэ-Алинь были лишь одинокие фанзы макосеев - китайцев, удэхейцев да совсем редкие избы староверов, первых русских переселенцев, то теперь, через четверть века и одно советское десятилетие, в этом районе стало **20.000 жителей, около сотни населенных пунктов и десятки колхозов.**

Район заготовляет четверть миллиона кубометров леса, в большинстве на экспорт, вылавливает 140.000 центнеров рыбы, колхозники впервые в таких северных долинах, как Кема, Шома и Кхуцин, стали сеять тысячи га пшеницы, овса, овощей, собирая богатый урожай. И даже создан колхоз из 30 семей вымиравшего народа удэхе в районе реки Самарги.

Вот каким стал Терней». (Подчеркнуто нами В. В.).

Приведенная выдержка характерна для всего содержания книги П. Кулыгина «Отступление дебрей». Автор последовательно проводит грань между старым и новым, часто скудными, но достаточно яркими штрихами, подчеркивая все те большие изменения, которые внес **труженик нового типа.** «Но-

вый хозяин попрзвил дела», — говорит автор после описания о. Путятина, где на смену любительским экспериментам капиталиста Старцева пришла настойчивая борьба сплоченных большевиками борцов за советский Дальний Восток.

Часто происшедшие перемены так разительны, что не требуется особо ярких красок, никакого «фона» для их выделения. Вспомним посещенную В. К. Арсеньевым в 1907 году Малую Кему, где тогда жил единственный «хлебопашец» — старовер Иван Бортников. Теперь здесь большое культурное село. **Оно целиком выросло в советское десятилетие**, оно уже полностью охвачено коллективизацией. Одержав победу в первой пятилетке, колхозники вошли во вторую с четким социалистическим планом дальнейшей дередслки этого куска бывших «дебрей», непроходимых и пустынных в таком недалеком прошлом!..

Работая исключительно на фактическом материале, П. Кулыгин, там, где это возможно, старается дополнить свои впечатления выводами старожилов, прошедших лично весь путь от старого к новому. «О том, как расцвели окраины Дальнего Востока за советское десятилетие, — говорит автор, — не расскажешь лучше деда Луковея, двадцать лет прожившего на Сахалине — каторге». Этот дед повстречался автору на борту парохода. После окончания гражданской войны в крае он поехал на родину — Азовщину, чтобы спустя несколько лет снова вернуться на Сахалин. Он говорит:

«—...Ну, а в позапрошлом годе я приехал туда же и ахнул. Ой, позвольте сказать, как места то расцвели удачно! Село-то большое, крупнохозяйственное, и колхоз там. Словно вам Азовщина! Воля кругом, люди все другие, вольные... А нонеча вот от колхозного правления за другими нашими рыбаками на Азов ездил. Больше двадцати завербовал из колхоза нашего села—добром едут».

Большое впечатление оставляет описываемый автором новый быт строителей социализма на самой отдаленной окраине страны. Таков, например, момент о том, как провожал допризывников колхоз «Красный пограничник», расположенный в долине

Белембе. «В клубе,—рассказывает автор,—шла постановка местными силами (работники учлесхоза и колхозники) «в пользу китайской Красной армии» и буфет тоже «в пользу китайской Красной армии».

«Однако же откуда все это? Каплунов об'ясняет: газеты, как и всюду на побережьи, сюда приходят редко, зато уже те, которые попадают, зачитываются до дыр, и на все газетное люди (новые люди! В. В.) привыкли реагировать активно. Никакой кампании за финансовую помощь китайской Кр. армии, конечно, не проводили, но в одном из номеров «Тихоокеанской Звезды» тут прочли статью, как китайские пролетарии и крестьяне героически отбивали четвертый поход Чан Кай-ши против советских районов Китая. Очень порадовались этим победам и решили помочь чем могут укреплению китайской Красной армии, «чтобы она была еще крепче». Вот и все дело!».

Таково положение вещей теперь. Русский рабочий, русский колхозник протягивает руку братской помощи китайцу-пролетарию и крестьянину. При Арсеньеве сюда селили других людей. Они, словно гончие, охотились за китайцами («фазанами») и корейцами («лебедями»), подстреливая их и получая от царских сатрапов, по высочайшему указу, 25 рублей за каждую голову, чтобы «пресечь вкорне желтую опасность», грозившую великодержавным планам царизма.

***

Мы строим новый Дальний Восток в жестокой борьбе с остатками умирающих классов. Нам на каждом шагу приходится разбивать сопротивление врага, меняющего тактику, использующего малейшую возможность навредить. Известно, что Дальний Восток был последним оплотом интервентов и отечественной контрреволюции, что именно здесь особенно живуч кулак — бывший стодесятинник — опора царизма. Его вылазки приходится преодолевать новым

людям, успешно перекраивающим далекие окраины страны. Естественно, что в «Отступлении дебрей» автор не мог пройти мимо происходящих здесь классовых боев. И наиболее характерным моментом в книге является эпизод из жизни колхозников в долине Кхуцина, где часть кулаков попробовала взорвать колхоз изнутри, «тихой сапой», а часть «создавала обстановку», организовавшись в террористическую банду. Банда была разбита колхозниками, главарь пойман и передан в руки властей, а в колхозе была проведена крепкая чистка, оздоровившая его. В этой борьбе колхоз окреп, закалился, сумел мобилизоваться на досрочное выполнение путины и уборки.

Яркий коротким эпизодом показан кулак Пинясов—бывший властелин Широкой Пади—со своим выводком, притаившийся теперь «до лучших времен» и втирающийся в доверие советской власти.

«И жалок и гнусен был этот старый остроклыкастый враг, напрятавший немало богатств, награбленных за безраздельное хозяйничанье в этой долине, и теперь хлопотавший, чтобы скинули шесть гривен налогу за ягненка. Хитер Ефим—плевал он на шесть гривен и ягушку, не за скидкой он пришел,—он пришел, во-первых, показать свою бедность (вишь, мол, хлопочу за какие деньги—нужда!..), а, во-вторых, доказать советскому начальству, что зверь скот дерет (так, мол, весь скот и задрал, косточек не собрали, дескать!)».

Случай с мотористами (глава **«Охотники крабовых полей»**), достаточно ярко рисует и опору кулака—подкулачника, чужака, пролезшего под личиной бедняка или середняка в колхоз и на промысел и выполняющего социальный заказ Пинясовых. Прочитанная на промысле, в колхозе, на заводе, книжка тов. **Кулыгина** поможет поднять классовую бдительность строителей социализма на берегах Тихого океана.

Вообще неправильно было бы квалифицировать «Отступление дебрей» только как интересную описательную работу, дающую новые сведения об отдельных уголках края. Эта работа ценна еще и тем, что в ней местами показан подлинный

опыт работы, показаны пути к достижению лучших производственных результатов. Такою, например, целиком является глава о «Путине в проливе Старка». Автор не ограничил свою роль рамками наблюдателя, а творчески участвовал в борьбе отдельных промыслов за план. Так, например, известно, что большую роль сыграл тов. **Кулыгин** в популяризации лозунга краевого комитета партии о круглосуточном лове. Какой успех имела пропаганда этого лозунга и проведенная на месте партмассовая работа — видно из главы «Два выхода в море».

***

И, наконец, нельзя не остановиться на последней главе, названной автором «О любви и равнодушии». Здесь—целая проблема. Автор—сам преданный краю боец—всей силой обрушивается на так-называемых гастролеров, любителей «тигровой экзотики» и длинных рублей, людей, приезжающих в край урвать кусок пожирнее, напитаться «сильными ощущениями» и («срок договора прошел»!) стремглав «вернуться в культуру».

«Там, где любовь,—там должна быть и ненависть»,—говорит автор, мобилизуя ярость сотен тысяч самоотверженных борцов обновленного края против такого типа чужаков.

Тут вспоминается ставшая крылатою фраза председателя краевой комиссии по чистке тов. Анцелович о так называемых «чемоданщиках». Одной из задач чистки ДВ организации тов. Анцелович поставил:

«Чтобы в рядах нашей партии не было людей, которые, будучи посланными партией на Дальний Восток, смотрят на это как на кару, наказание и рассматривают себя как какую-то жертву. Кто так думает, тот не революционер, не коммунист, а обыватель, шкурник, чемоданщик».

Прав тов. **Кулыгин**, квалифицирующий «чемоданщину», как серьезный тормоз дальнейшего развития производительных сил края. В данном случае всякое попустительство гастролер-

щине, проявляемый к ней гнилой либерализм должны наталкиваться на организованный отпор всех подлинно преданных строителей социалистического Дальнего Востока.

***

Насколько нам известно, **П. Кулыгин** не считает свою задачу хотя бы частично завершенной, да оно и понятно. Одна книга не исчерпывает всей этой большой темы. Автор «Отступления дебрей» сейчас, после новой поездки по окраинам ДВ, работает над новой книгой, которая по существу будет продолжением настоящей.

Но и это еще не все. Для того, чтобы показать новый край широко, нужна не одна и не две книжки,—нужна работа не одного, а многих литераторов, журналистов, исследователей. Мы имеем в крае силы, могущие справиться с этой задачей. И пусть начало П. Кулыгина послужит творческим толчком для дальневосточников писателей.

Пора серьезно приняться за работу! Край под руководством партии пядь за пядью борется за полное устранение белых пятен на карте Дальнего Востока. Неисследованных мест еще очень много, но их с каждым годом делается все меньше. Литературные силы края должны итти в ногу со своим краем.

В. ВОЛЬХОВСКИЙ.

ОТСТУПЛЕНИЕ ДЕБРЕЙ

1
Остров сардин и пантов

С мыса Гинтера остров стал отчетливо виден. Лошади замерли на вершине скалы, вздыбившейся над морем. Море дышит глубокими вздохами. Там, внизу, вкрадчиво лижет камни лохматый накат. Полуденное солнце рассыпает на груди моря ослепительный дрожащий блеск. Ветра нет. Тишина. Остров встает темно-зеленой густой громадой из голубизны небоморья. Нас от него отделяет лишь четырехмильная полоса пролива Стрелок.

— Тут за перевалом в бухте Конюшково —колхоз, —говорит мой спутник.—Спустимся туда; с попутным кавасаки нас охотно перебросят через пролив...

Мы угодили кстати. Колхоз сдает на консервный завод, расположенный на острове, иваси из своих неводов, и кавасаки, полный до краев трюма рыбой свежего улова, уже стрекотал мотором, когда мы вскачь неслись к пристани.

Лошади приняты на колхозный двор, а мы—на борту суденышка, направляемого рукой шкипера-корейца на остров прямо напротив колхозной бухты-лагуны.

Через 40 минут (кавасаки делает не больше 6 миль в час) наши ноги ступили на берег острова, блестящего от ивасевого жира.

Завод работал. На берегу сновали десятки пар людей с носилками, таская в завод от причалов рыбу утреннего улова. Сорок мачт сорока кавасаки, обслуживающих завод, стояли развернувшись веером по линии бухты. Слева от острова к горе Старцева уходили бараки и палатки ловцов, а дальше на первых террасах горы виднелись наблюдательные вышки, башня, дома и беседки. Там начинается зверосовхоз—вольеры чернобурых и серебристых лисиц, плюющихся скунсов, шиншиллов-кроликов и пастбища полутысячного стада маралов-изюбрей—уссурийских пятнистых оленей.

Сардинка-иваси и панты изюбря—такова, можно сказать, экономическая база этого острова, носящего ни с чем здесь не связанное, случайное имя Путятина.

Но и завод и пантачи на острове—недавно: с начала первой пятилетки. Судьба острова до пятилетки необычайно романтична. Остров в царские времена был «частным». Старцев, чье имя сохранилось за горой пантачей и мысом, торчащим против бухты Абрек, миллионер-культуртрегер, откупил остров от казны. Это было в 1883 г. В письмах, оставшихся по-

сле хозяина, были найдены его чудаческие мысли: сделать из этого пустынного, оторванного от материка шестимильного куска земли остров благоденствия для себя и кунсткамеру живых чудес для гостей. Насколько позволял миллион, Старцеву его замысел удался. На острове появились арабские кони, австралийские мериносы, американские легкгорны, уссурийские изюбри, зацвело клубничное поле, виноградники конкордия и крымский, труши и яблоки. Старцев завез на остров и стал культивировать чайное дерево и шелковые коконы. Обнаружив на острове запасы белых глин, построил завод фаянсовой посуды. Его собственный пароход «Чайка» курсировал на двадцатимильной линии: остров—Владивосток. Он первый ввел удачный лов трески кустарным тралом.

Неугомонному Старцеву удалось многое доказать. Путятинская почва и климат принимали в себя полностью все, что им навязывал хозяин. Его гости пили путятинский чай из путятинского фаянса и ели сочные путятинские фрукты. Но никто не принимал опытов Старцева всерьез, относясь к ним как к прихоти богатого чудака.— Чего де, мол, не натворишь на большие деньги! Сам же Старцев известности, как естествоиспытатель, не добивался. И стоило ему умереть, как все пошло вспять. Наследники—владивостокская золотая молодежь,—похоронив старика, как он хотел, на острове, быстро стали разменивать и лошадей, и мериносов, и виноградники, и завод на звонкую монету. Все, что Старцев десятилетиями завозил сюда и что здесь дало ростки и плоды, наследники перетаскивали на материк, не задумываясь над тем, что чудак-старик проделал интересное опытническое дело, показав, что приморский дальневосточный климат открывает блестящие возможности к тому, чтобы сделать край богатейшей житницей, где даже животный и растительный мир, перенесенный из далеких, про-

тивоположных поясов, дает отличный результат акклиматизации.

Старцев был индивидуальностью, одиночкой, исключением из большого дальневосточного скопища тупых, ленивых, жадных до легкой наживы царских администраторов и купцов.

Годы интервенции и партизанской войны, кипевшей в Приморье, оставили о Старцеве лишь его имя, развалившиеся постройки, разрушенную трубу с'еденного пожаром завода и с десяток пантачей, одичало бродивших по острову.

Теперь поправляет дела новый хозяин. Там, где белая глина пережигалась в китаеузорчатый фаянс,— теперь конвейер завода, по которому текут банки сардинок, ловецкий флот в 40 кавасаки, рабочий поселок на 2.000 душ. Там, где Старцев принимал гостей,— прыгают в вольерах валютные лисички, снуют еноты и у горы Старцева по восточному берегу острова бродят стадами дорогие олени.

Новый хозяин поправил дела. Остров снова дает богатые плоды—миллионы банок консервов, тысячи центнеров соленой иваси в бочках, которые идут за валюту на заморский стол и за советский рубль—на стол москвичей, магнитогорцев, ленинградцев, хабаровцев. Панты изюбря и пушистый мех лисиц, енотов и скунсов тоже дают стране свои валютные плоды.

Новый хозяин внес много нового в жизнь острова, он использует также и достижения Старцева. То, что Старцев культивировал как диковинку для себя и гостей, край берется культивировать в промышленных масштабах для всей страны. Чай, шелк, виноград, мериносы и легкгорны оседают прочно и навсегда на обновленной приморской земле. Чудачества миллионера пригодились.

*

Старцев пробовал промышлять треску. Попадалось кой-что на уху. Теперь 21 советский тральщик добывает треску тысячами центнеров. А кроме того в советские годы стала добываться маленькая, нежная рыбка—иваси, тихоокенская сардинка,—которая за короткое время заняла второе место в огромной добыче рыбы краем, стала в том числе хозяйственной основой процветания и этого острова.

Иваси—японское слово. Рыбка, на две трети состоящая из жира, с мясом нежным и вкусным, маленькая—не длиннее четырех-пяти вершков.

Появление ее в советских дальневосточных водах ошибочно связывают с известным землетрясением в Японии в 1923 году. Между тем как позднее удалось доказать, иваси водилась и до той поры, ежегодно с мая по ноябрь беспечно резвясь в водах Приморья.

В эстонском рыбацком колхозе «Новый мир» (бухта Андреева), где я был в марте 1932 года, засольщик Лайда так рассказывал о появлении иваси:

— Виллем Ула, наш хороший покойный рыбак, первым поймал иваси в бухте Андреева. Дело было в конце октября 1922 года (за полгода до землетрясения!). Бухта покрылась тонким льдом и Виллем поставил вентерь (плетеный мешок-воронка) на корюшку. Утром достает вентерь—очень тяжелый, не поднять. Зовет народ. Вытащили. Смотрим — полный вентерь невиданной рыбы: мелкая, серебристая, с темными пятнашками по бокам. Сварили — не вкусно. Засолили—пробуем, ну об'яденье да и только! Отличная оказалась на засол. С той поры каждый год понемногу брали. Трудно было—не знали как к ней приспособиться...

Виллем Ула, конечно, и не думал, что открытая им рыбка станет в 1932 году основой колхозного лова.

А это уже так. В 1932 году колхоз «Новый мир» поймал иваси около 14.000 центнеров.

Когда мы говорили с Лайдой, бывший со мной товарищ Русский—специалист рыбного дела, работник крайКК-РКИ — вспомнил, что иваси, собственно, ловилась еще раньше. В двадцатых годах один кореец-промышленник снимал пустынный участок у мыса Поворотного, платил за него большие деньги, но не уступал никому. Там, как говорили приморские рыбаки, он ловил осеннюю, жировую селедку. Это, как потом стало ясно, и была иваси.

Но ведь после землетрясения массового улова иваси, как сардинки, не было вплоть до 26-27 года, когда впервые по всему Приморью ее было выловлено 128.000 центнеров. Это были детские годы советской рыбной промышленности. Ловили, главным образом, весеннюю ходовую сельдь неводами у берегов, а зимой ловили немного наваги. Лов кончали в начале мая. А иваси появляется, как уже сказано, в июне и редко подходит к берегам, забираясь глубоко в поисках теплых течений.

Лов рыбы раньше был или любительский, или прасольски-хищнический. Рыбой пренебрегали. Было так, что крестьяне нынешних Шкотовского, Сучанского районов весь улов за банку спирта отдавали торговцам китайцам, корейцам, которые целыми шаландами увозили почти даровую рыбу на Семеновский базар во Владивосток. Но и эту рыбу некому было покупать. Цены были ничтожные, конкуренция ожесточенная. Не было никакого стимула к усилению лова. Не мудрено, что население таких районов, как Шкотовский, который сейчас обязан давать краю около 150.000 центнеров рыбы , предпочитало заниматься контрабандой, макосеянием и заработками на перевозках.

Стоило только двинуть прекрасную дальневосточ-

ную рыбу в центры Союза, ввести плановое начало в добычу рыбы, взяться по-настоящему, крепко и широко за создание советской государственной рыбной индустрии и позднее колхозного лова, ввести, пусть пока заимствованные, но более или менее совершенные орудия лова, как резко прыгнула вверх добыча иваси. В 1928 году уже было добыто **354.000 центнеров,** а в 1932 году—**900.000 центнеров. 1 млн. 100.000 центнеров—план 1933 года.**

*

Запасы иваси неистребимы. Стада этой тихоокеанской сардины в течение почти полугода кишат на огромном протяжении советского Приморья—от Де-Кастри на севере до мыса Фуругельма на юге, на границе с Кореей. Дело за техникой и людьми.

Больше—за людьми. Какая бы ни была техника, она попадает в руки человека. А в Приморьи, необыкновенно богатом дарами природы, и рук мало, и руки часто ненадежные. Специалистов рыбного дела, практиков мало. Подготовка их идет не в ногу с темпами технического оснащения рыбной индустрии, а отстает.

В самом деле, за пятилетку, с 1929 года по 1933, техника шагнула вот как: в 1929 г. были только парусные шаланды, кунгасы корейского типа, плоскодонная грубосколоченная посуда; в 1932 году — 892 моторных кавасаки, 13 сейнеров, 10 дрифтерботов. Заново построены десятки новых промыслов; охвачен живой силой огромный тысячемильный берег Приморья, в досоветские годы именовавшийся не иначе, как «дебри»; построены десятки крупных консервных заводов, запроектированы и теперь строятся новые. Консервных заводов у края уже теперь больше, чем у Японии.

А вот о человеке, мастере рыбного дела как-то

впопыхах забыли. Кадры старых рыбаков очень незначительны,—известно, как был беден в старые годы здешний рыбный промысел.

За пять-шесть последних лет в край пришли десятки тысяч людей, которые органически, всем сердцем полюбили край. Тысячи из них осели и на промыслах. Но все-таки сотни тысяч прошли сквозь край не осев. Как саранча—рвали, хватали и, не видя готового урожая, перелетали в другие места. От этой потравы больше всего доставалось молодой, неокрепшей рыбной индустрии края. Приезжают страшно равнодушные к делу люди, проработают сезон (еще хорошо—если не навредят) и, «кончив путину», собирают сундуки и узелки и «Прощай, до нового года! Там после нас—хоть потоп!» Эти люди уезжают, а вслед им едут вербовщики, к сожалению очень многочисленное племя, и начинается вербовка новых людей. Лишне даже говорить, какой раззор для края получается от этого. Одна вербовка и перевозка рабочих только по Дальгосрыбтресту ежегодно обходится **в три миллиона рублей.**

На промыслах из-за укоренившегося взгляда на сезонность путины все еще неуютно, скучно. Люди живут как в лагере — больше всего в палатках. Только в бухте Находка начал строиться настоящий первый рыбацкий городок.

Вот и тут, на острове Путятин, люди в зверосовхозе живут годами в крепких, отлично оштукатуренных, уютно меблированных домах, среди чудес благодатной природы, а рыбаки и рабочие завода наполовину живут в палатках, скученно, знакомясь с клопом и блохой. В чем дело?—Да ведь на сезон,—говорят, —куда лучше?

Каждый год Путягин видит 70-80 проц. новых рабочих,—сезонных.

А между тем путина может быть активной весь

год напролет. Посудите: в досоветские годы в Приморьи ловили только сельдь и навагу, а севернее — кету. На юге лов с первыми днями весны кончался; промышленники, сбыв рыбу, ехали кутить. Нам уже удалось удлинить путину до 8 месяцев в среднем, поднять добычу с 523.000 центнеров (1914 год) до **3 миллионов 540.000 центнеров** (1932 год). Ловится в Приморьи теперь сельдь, корюшка, иваси, камбала, треска, красноперка, минтай, скумбрия, навага, кета, краб, трепанг, чилимсы и множество других пород. Тральщики, исследовавшие северные воды в Беринговом море осенью 1932 года, нашли богатые запасы новой рыбы, которую в Америке зовут колфиш, что значит «угольная рыба». Чернокожая рыба, с вкусным и жирным мясом. Кто скажет, что уже выявлены все ценные продукты моря? Новая техника, наука и практика помогут найти еще немало неизвестных пород, которые—кто знает?—могут, как иваси, занять первое место. Словом, зимой не только можно, но и не надо, нельзя прекращать лова: работу всем промыслам на круглую зиму могут дать даже одни неисчислимые запасы камбалы, которая в мороженом, свежем виде и консервированная в виде фрикаделей-битков (маленькое изобретение консервного мастера с острова Путятин) совсем не так противна, как в ее нынешнем соленом и грубоконсервированном виде.

Работа круглый год нужна не только из этих соображений, но, и даже главным образом, из-за необходимости закрепить за промыслами человека, сделать ловца не «сезонником», а таким же промышленным пролетарием, как металлист Свердловска, текстильщик Иванова, автосборщик Горького, нефтяник Баку. Для этого, конечно, надо создать рыбаку и консервщику такие же условия.

Природная обстановка тут всюду от Посьета до далекой Совгавани неотразимо хороша: все промыслы.

за редким исключением, расположены в глубоких бухтах, удобных во всех отношениях. Их можно осваивать без больших затрат — строить настоящие рыбацкие порты, индустриальные рыбацкие города с широкими улицами, просторными и светлыми домами, столовыми, магазинами, клубами-кино, школами. Эта крупная, нет сомнения, задача новому хозяину края, уже показавшему свою силу, вполне по плечу. Тем более она облегчается уже таким преимуществом этих мест, что не надо искать стройматериалов: они под боком у каждой будущей стройки — от леса до туфа и извести.

*

Так я размечтался вслух вместе с Павлом Калистратовым, молодым рыбаком — первым председателем первого островного совета. Мы сидим у подножья горы Старцева, на каменистом обрыве над морем. Влево — промысел с его путинной страдой. Время — первая половина дня. К промыслу с обоих концов пролива один за другим тянутся кавасаки с ночного лова.

Калистратов—сам пришлый на Дальний Восток человек. Он — парень сибирский, томич. Это один из верных краю людей. Он тут вот, в Приморьи, доживает четвертый год, и не отгонишь.

Сам Павел с семьей из трех душ живет не лучше, чем ловцы — в досчатом бараке, крыша которого протекает после каждого ливня. Ливни здесь—как в тропиках,—стихийно могучие ливни.

Я вот сейчас говорю Павлу, что он человек верный, нужный, а работает неправильно.

— Как? Почему? — поднимает он голову.

— А ты где вчера был? Я тебя весь день искал и ночь.

— В море выезжал, на кавасаки, за рыбой...

— Ты часто выезжаешь?

— Да почти что раз пятнадцать в месяцу.

— Хорошо, да не дюже,—говорю я ему. Он ведь все-таки не ловец, а можно сказать островной голова, предсовета. И ловец и партия ему спасибо больше скажут за другое, от чего и рыбы будет больше, чем от всех его личных выездов. Я говорю о том, что нельзя ему своих прямых обязанностей забывать. А его обязанности—заботиться о всем хозяйстве острова, улучшать жилые условия ловца и рабочего, а не терпеть их даже самому. Добиваться, словом, того, о чем мы битый час толкуем...

Павел даже не парирует атаки. Поводя ладонью по лбу, расчищая его от слипшихся в поту волос, он мечтательно говорит:

— Н-да, город... Скажем, город Ленинск. Хотя Ленинск кажется есть, да, есть, в Сибири. Ну тогда... Впрочем не в названии дело. А знаешь что? Тут бы прекрасный вырос город. Сюда бы люди ехали как иваси, косяками бы ехали. И, конечно, это верная мысль. Только такими крупными шагами можно решать вопрос о человеке. Ты прав, у нас тут есть недооценка... Зимой? Зимой, конечно, можно работать—камбалы до чорта, поставил линию завода на фрикадельки—и гони. А то что, в самом деле, наш завод в год 50 полных дней не работает.

Рентабельно это? Жить человеку негде—вот вопрос, это верно. Н-да, надо строиться, строиться. Что-ж,—вскидывает он глаза на меня,—вторая пятилетка близко, будем строить, построим город... Ивасинск (он добродушно смеется). Будем закреплять человека. Благо нам за примером ходить недалеко (и он показывает на дома зверосовхоза). Хорошо живут черти: чисто, тепло, просторно, картинки на стенах, занавески, рога оленьи. Пойдем, что ли, к ним, поглядишь...

— Идем.

*

Чтобы далеко не обходить, мы прямо через изгородь перелазим в огромную ограду совхоза. Аллея дубков ведет в гору, где жилой центр совхоза—стоят белые двухэтажные дома, сарай, кладовые, за ними простираются грядки зелени—огороды. Идем мимо вольеров лисиц, отгороженных высоким частоколом. Павел не утерпел, чтобы не найти щелку—поглазеть. Я—тоже. В вольерах тихо. Лисы—чернобурые, сиводушки серебристые и красные—мягко ступают, обходя двухметровую площадь своих проволочных клеток. Не слышно ни лая, ни визга. Сейчас—торжественная пора в этой части совхоза: лисы щенятся.

— Товарищи,—слышим мы шопот за спиной,—товарищи!—Мы обернулись.—А-а, это вы, Калистратов?

Пинты, готовые на экспорт

Добро пожаловать! Только чего же вы здесь? Прошли бы уж, если так любопытно, внутрь...

— Да не столько мне,—неуклюже оправдывается предсовета,—сколько товарищу. Приезжий, из Хабаровска.

Человек, накрывший нас за подглядыванием, был т. Мошков—оленевод, хранитель путятинского стада пятнистых оленей. Что мне сказать? Конечно говорю о том, что мне очень хочется повидать маралов, драгоценные рога которых стали целой отраслью краевого экспорта.

— Обязательное любопытство,—говорит Мошков. —Побывать на острове и не быть у нас—это даже нехорошо. Прошлой осенью нами многие интересовались. Очень долго у нас жил один писатель—Пришвин. Такой, знаете, шевелюра пышная, борода... Хороший человек, внимательный и толковый—очень много в охоте проявил познаний (Еще бы!—думаю я). Так. Ну, что-ж, с удовольствием покажем. Только как вы хотите: смотреть парковых—их у нас 523 головы, или в домашнем питомнике—тут 53 головы? Этих вон прямо из окна видно. Сайки, * мелкота.

— Парковых, парковых,—подсказывает Павел,—время у нас есть...

Мошков берет ружье. Идем...

Уссурийский марал-изюбрь — такой же последыш тропической фауны края, как удав и тигр. Охота на него запрещена. Последних изюбрей вылавливают и водворяют в зверосовхозы.

Олени путятинского совхоза живут просторно—на площади в 2600 гектаров, разнообразнейшей по природным условиям: лес, пастбища трав, озера, речки,

*) Сайки—молодые, чаще двухгодовалые олени допантового периода

плоскогорья и равнина. Оленухи любят склон горы Старцева с водопойными незамерзающими ключами. Любят оленухи также южный склон соседней горы Наблюдателя. У рогачей-самцов излюбленные места в районе Пяти Пальцев, на юго-востоке острова. Любят рогачи и мыс Фелькерзама за роскошные разнотравные поляны с молодыми зарослями кустарника.

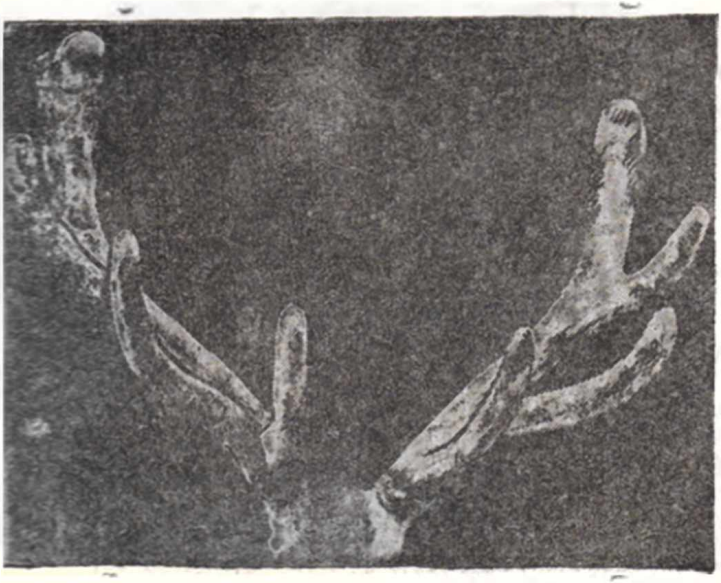
Оленья весна начинается с линьки и сбрасывания сухих рогов. Рогачи в период с конца апреля до конец июня освобождаются от тяжелого, доходящего до 4 кгр. веса, головного убора—многоветвистой короны. Примерно, в этот же срок идет и линька—смена зимней шерсти, густой и лохматой, на мягкую короткую, лоснящуюся красноватую шерсть лета.

— Нынче у нас мало удачным был третий период, —говорит Мошков,—отел оленух. Оленух было 202. Так и думали, что приплод голов 150 будет. Все шло нормально, как вдруг такой тайфун, знаете, ударил, да двое суток, что я голову потерял. И как раз в первые дни отела. На этом деле проиграли 15 оленят. 136 голов все же прибавилось.

Вот пантовка была интересной и прошла удачно. Что такое панты? Слово это тунгусское—«Хун-ту», а по китайски—«Лу Юн-пен». Панты—это красновато-золотистые, налитые кровью и силой, рога возмужавшего трехлетнего оленя. Особенно велика ценность пантов отстрелянного, убитого оленя, когда рога совсем не теряют крови. Такие панты ценятся необычайно высоко. В 1920 году оленевод Янковский из артели «Сосновые скалы» за панты оленя «Яна» получил 2000 золотых иен. Во всем мире только рога нашего оленя котируются так высоко.

Панты в Китае, как и корень жень-шеня, применяются как ценнейшее лекарственное средство от многих болезней. Почти 3000 лет древняя тибетская ме-

дицина признает за пантами прямо-таки волшебные целебные свойства. Они стареющим «возвращают молодость», укрепляют человеческие силы, делают дряхлеющего бодрым и счастливым. Только тибетской медицине был известен и самый секрет приготовления лекарств из пантов. Так как европейская медицина к тибетской относилась свысока, подчас приравнивая ее к шарлатанству, то многие считали, что мы, сбывая Китаю панты, пользуемся его невежеством ради наживы и даже помогаем укрепляться шарлатанству и суеверию. Советская научная медицина в самые последние годы сумела доказать, что это далеко не так. Профессор Павленко в московском научном институте экспе-



Рога пантача

риментальной эндокринологии, изучая панты, обнаружил в них громадное содержание мужского полового гормона, обладающего сильно восстановительными свойствами, благотворно действующими на мышечную систему. Из пантов уже приготовлен особый препарат, получивший название «Пантокрин», который скоро станет предметом широкого потребления. Мы будем поставлять не сырье для китайских докторов, а высокоценный патентованный препарат, которому суждено сыграть большую роль в медицинском мире.

Ценность самца-марала теперь скакнет еще выше.

Панторовка, отстрел пантачей — это самая интересная пора для егерей совхоза—первоклассных охотни-

Егерь вернулся с отстрела Привез панты

ков. Егерь Лютиков, убивший в этом сезоне двух пантачей, с воодушевлением, полным охотничьей страсти, рассказывал мне, как он выполнил свой «промфинплан» Во-первых, надо было найти пантача и определить, что его панты достаточно зрелые. А это так же трудно, как выследить тигра. Как раз в пору пантовки (июнь-июль) олени бывают особенно чутки к каждому шороху: вспорхнет птица—и благородный пантач высоко поднимает корону рогов, его большие овальные глаза проницательно всматриваются в кустарник, напряжены треугольные уши и чутки дрожащие мокрые ноздри.

Первого пантача егерь нашел в районе Пяти Пальцев под Золотой горой. Это был прекрасный трехлетний олень, пасшийся в окружении оленух и сайков. Он выделялся своей резвостью и, конечно, рогами, полными крови, золотисто-коричневой бархатной короной. Егерь ползком стал приближаться к оленям с надветренной стороны. Когда удалось приблизиться на 12-15 шагов, он взял ружье на прицел. Пантач вдруг стал проявлять беспокойство, два раза обежал оленух, щипавших траву, потом остановился и поднял голову, всасывая воздух. В этот миг и ударил выстрел. Олень метнулся было в чащу, но ноги подкосились и он рухнул со стоном на траву. Оленухи, сайки и оленята быстро скрылись в чаще. Егерь подошел. На траве лежал не очень крупный экземпляр, но с вполне зрелыми пантами. Отрезав горячую голову, Лютиков бережно понес ее в совхоз...

— В конце сентября,—продолжал Мошков,—начинается брачный гон оленей в «парке». Близость гона сразу заметна—самцы нервничают, появляется много обшорканных деревьев и земляных разбросов,—это рогачи отшлифовывали свои рога. На мочежинах—свежие следы грязевых ванн—тут самцы мазали себе грязью шею, грудь, голову, живот. Наконец, слышим

первый рев оленя. Это—сигнал: гон начался. Рев повторяется еще и еще. Так каждый вечер. Потом уже ревет весь остров — сразу 7-8 рогачей в разных концах. Самцы дерутся, отвоевывая самок, увеличивая каждый свой гарем. 16 октября 1931 года егеря у одного самца насчитали 13 оленух. Чаще всего гаремы в 5-4 матки. Без убийств во время гона редкий год обойдется. Рогачи беспощадны. Однако прошлый сезон был спокойный—только двое рогачей после гона остались с изломанными рогами.

Оленята и оленушки в пору гона все время трутся около матерей. Отбиваются разве лишь в тех случаях, когда самец слишком долго гоняет мать. Во время гона оленушки, между прочим, полноценно участвуют в гоне, не отстают от матерей. Половина их обычно в первый же год покрывается самцами и они уже дают приплод.

В ноябре, после гона, начинается перегруппировка оленей — оленухи вместе с оленятами и оленушками начинают собираться в отдельные небольтабуны, готовясь к зимовке, выбирая места.

Панты этого зверя, убитого Лютиковым, были прекрасны

Мошков сообщил, наконец, любопытную вещь: среди оленей есть, оказывается, и «путешественники», которые по нескольку раз переплывали пролив с острова на материк и возвращались обратно. Плавают олени великолепно.

★

Незаметно мы дошли почти до вершины горы Старцева. Вид на остров открывался отсюда чудесный. Стояли мы на кремнистой площадке, с которой была видна одна из лесных полян, метров на 40 ниже. Мошков толкнул:

— Вон олени, смотрите, выходят на поляну. Восемь голов. Тут водопойный ключ. Это—оленухи и сайки...

Олени дошли до ключа и, став кругом—голова к голове, жадно сосали воду. Был август. Близко к началу гона. Это пора, когда олени—во всей своей красоте: гладкие, упитанные, с лоснящимися боками, с рогами, наливающимися соком.

Я оступился. Под ногой зашурчала каменная осыпь. Все олени моментально оторвались от воды и метнулись в заросли. Чутье и настороженность прямо поразительны, даже здесь в заповеднике. Представляю, каким каторжным терпеньем и какой ловкостью надо обладать охотнику, чтобы добыть пантача, находящегося на таежном просторе в диком состоянии.

Диких пятнистых оленей сейчас в крае осталось совсем немного, не более 700—800 голов. Охота на уссурийского оленя запрещена. Олени вылавливаются живыми для водворения в заповедники. Дикие олени еще встречаются в Посьетском, Суйфунском, Шкотовском, Сучанском и частично Ольгинском районах, в горной тайге по верхним притокам р. Судзухэ, по хребту Сихотэ-Алинь.

Ловля оленей идет по-старинке. Правда, классический китайский способ ловли, так называемый лудева—засека на десятки верст, загораживающая ходы зверя, с ямами в оставленных проходах, куда проваливается зверь,—уже давно не применяется, но сохранился другой китайский способ—тюеш, или башмак-колодка с дырой, утыканной гвоздями, куда ногой попадает олень. Широко применяется способ загона оленей с собаками по глубокому снегу, в наст, загон в море и погоня за ними на шлюпке. Поймать оленя в воде совсем не трудно. Собак олени страшно боятся. Так боятся, что даже ищут спасения... у человека. Оленевод К. Абрамов рассказывает, что в дер. Звездочка один пантач, преследуемый собаками, вскочил на отстой на крыльцо школы, откуда был легко взят крестьянином Шморгуном, а в деревне Ханихезе олень от собак заскочил в открытую жилую корейскую фанзу. Такие случаи бывают каждую зиму.

Через год-другой все дикие олени будут водворены в заповедники, где их поголовье и без того растет необычайно быстро, так быстро, что заповедники перебрасываются во все новые и новые места. Взять тот же о. Путятин. У Старцева было два-три десятка оленей. Совхоз начинал дело с 45. Теперь у совхоза с приплодом 1932 года больше 600, а во всех совхозах ДВК пантовых оленей уже больше 9000 голов.

Новый хозяин поправляет дела.

2

Два выхода в открытое море

На Путятинском промысле третьи сутки затишье. Только «двойка» *) из второй бригады пришла сегодня с завидным уловом. Восемнадцать сеток, туго набитых иваси, горкой лежали на крыше трюма, старательно перетянутые парусиной. 42 центнера взяла «двойка» сегодня на рассвете в двух милях к северо-востоку от Пяти Пальцев.

*) Кавасаки № 2

Наш кавасаки № 59 из четвертой бригады и сегодня отстал от «двойки», с которой он соревнуется, взяв там же, недалеко от Пяти Пальцев, всего 28 центнеров.

Солнце в зените. Сентябрьское солнце прямо над головой. Мы сидим—шкиперы, ловцы и мотористы четвертой бригады—в парусиновой палатке, где чинят сетки. Сетки из под утреннего улова сушатся на низких вешалах.

— Надо было за пять миль не итти, раз рыба у берегов есть,—говорит Пак Чун-га, ловец с 59-го кавасаки,—и сетки бы поставить на два маха, а не глубже, мы бы тогда и на аэроплане были.

— Наоборот,—уверяет Ли Ки-ток, бригадир,—надо дальше ходить, там всегда рыба, а у берега—это, мой дорогой, случайность будет. Случай на случай, тебе известно, не приходится...

— 17 центнеров нехватает, а то, конечно, были бы на аэроплане,—досадливо добавляет Те Хе-сен и, повернувшись ко мне, говорит:—Мы два месяца все на автомобиле, надоело, шибко очень надоело...

— Да, — соглашаюсь я, — конечно, это худо, всем надо добиваться аэроплана, но уж лучше сидеть в автомобиле, не вылезая из него на осла, или, хуже того, на черепаху..

— Верно, верно, — кивает Пак Чун-га, и все показывают крепкие зубы, улыбаясь тому, что все же не их бригада на черепахе.

Это у нас в палатке совет, как увеличить лов, как занять первое место на промысле.

★

— В нашей бригаде хорошие ловцы, есть опытные, еще на Камчатке подолгу работали, — лукаво хвалит всех Вар Пар-бон,—и шкиперы не худые есть

(он смотрит на шкиперов).—Надо бы нам обогнать вторую бригаду...

— Конечно,—добавляет моторист Попов, приподнимая фуражку,—ничего нельзя иметь против, что они больше нашего ловят. Ихнее право быть на красной доске, в аэроплане, но раз ловцы и шкиперы у нас не худые, наши корешки-мотористы тоже не подга-

Бригада ловцов принимает кунгасы

дят. Что вы скажете, ребята?— обращается он к мотористам.

— Я бы сказал—не подгадят,—кричит только-что вошедший «бузотер» Игнат Шидловский, моторист с «девятки».

— А о чем речь? — обращается он ко всем.

—Да вот,—говорю я,—четвертая ваша бригада может обогнать вторую в два счета и даже потянет ее за собой, всех потянет. Надо только первыми выйти, вернувшись с ночного, и на дневной лов. Этого еще полтора месяца назад требовал крайком партии, но еще нигде за это не взялись. Идут разговоры, что нет рыбы днем. Это не нашего бога разговоры, днем рыба есть. Чепуха, что она сетки видит—ни черта она не видит. Вон Федор Ботнарь из колхоза «Пролив Стрелок» позавчера днем взял 48 центнеров на десять сеток.

— Ври больше,—надувает губы Шидловский,—кто сказал?

— Как кто сказал?— повышает голос Попов. — А Ботнарь куда делся? И сегодня утром опять колхозники приезжали—дневной лов у них, брат, во всю. Правильно! Мало рыбы ночью—шукай днем. А то, действительно, совестно в глаза смотреть. Разве мы работаем? Больше у берегов стоим целыми днями да на погодку поглядываем. А в ночь выйдем за мысок, сетки вымочим да на кавасаки проспим.

— Ну, рыба может и есть. А сетки?—горячо вскакивает старый Ли Чун-хван, шкипер с 54-го кавасаки.— Сеток же нету. С чем второй раз выходить? Не понимаю. Мокрые сетки не повезешь—сушить надо...

— Успокойся, Ли Чун-хван,—отвечает сендо*) Андрей Антонович Ким,—сетки на нашем промысле есть, но ты, да и все ловцы, лучше бы берегли старые, тог-

*) Сендо—японское название руководителя лова, обычно это опытный старый рыбак.

да бы и на три выхода нам сеток хватило. Кроме того можно сушить в пути, подвешивая сетки к мачте. Небольшой улов—центнеров до десяти — можно и самим отцепить. Сдал рыбу, подзарядился—закусил да и снова в море.

— Кто хочет больше ловить, тот найдет и сетки, —вразумительно заключает Те Хе-сен.—Я думаю, что он прав (Те Хе-сен показывает на меня), мы должны завтра выйти на дневной лов.

Совет в палатке кончился решением: «Завтра попробовать».

Сегодня пока-что по-старому—на лов идем в ночь

★

В 4 часа 30 минут, когда на берегу еще не было предотходной суеты, кавасаки нашей бригады все вместе вышли из бухты. Три кавасаки по распоряжению бригадира пошли к бухте Вампауша в Уссурийский залив и два—наш и «десятка»—в далекое море—поставить сетки против залива Восток.

Бригадир Ли Ки-ток, молодой годами, но довольно опытный и уважаемый рыбак, был на нашем кавасаки. Он стал у руля, а шкипер Ким Ке-юли и ловцы перебирали сетки, подвязывая грузила, стеклянные наплава и бочата, на которых держится порядок сеток на поверхности моря. Каждый кавасаки имеет от 12 до 20 сеток, скрепленных между собой. Это для того, чтобы часть сеток ставить на одной глубине, часть на другой.

С моря идет нам навстречу свежая волна. Ветер с юго-запада. Кавасаки легко перекатываются через отлогие гребни. На этой неуклюжей посудине японской породы, полукатере-полукунгасе, мы делаем пять-шесть миль в час. Мотор с отдышкой отстукивает — так-так-так-так-так.

Справа назад медленно уплывает о. Аскольд. Впереди показались Пять Пальцев—крошечный островок, оторвавшийся от о. Путятина, съеденный штормами, оставившими лишь пять причудливых острых скал, собирающих сейчас птичьи базары.

Вот там слева невдалеке видна неводная база Путятинского промысла. Стоят знаменитые 4 невода, которые уже взяли три годовых плана. Эти невода на изаси в июле ставили с неохотой, как лишнюю обузу, а они отлично поработали, являясь примером и суровым упреком всему моторному флоту, из месяца в месяц срывающему план лова из-за ленивых и очень редких выходов в море.

На всех промыслах укоренилась нелепая система—ходить на лов раз в сутки. Все суда—кавасаки, мотобаркасы, шаланды, кунгасы, вельботы—выходили на лов, близок ли он, далек ли, только под вечер, с закатом солнца рассыпая сетки. После этого наступало десятичасовое ожидание улова. Сетки вынимали на рассвете и с уловом, мал ли он, велик ли, возвращались на промысел. Ловцы, подняв сетки, не трогали их. Сетки брала на причал особая бригада отцепщиц-кореянок, а ловцы шли отдыхать. Торопиться некуда—новый выход опять под вечер. Я подсчитал, что в среднем, учитывая далекие выходы в море и близкий, береговой ход, ловец, ежедневно находясь в море 10-12 часов, фактически работает 4-5 часов. А на промысле администрация ломает голову—почему это не выполняется план и консервный завод больше стоит из-за отсутствия рыбы, чем работает?

Пономарев—директор промысла,—когда я, только что приехав на остров, обратился к нему с этим же, мучившим его вопросом, посмотрел куда-то в сторону, в окно, упиравшееся в заводскую стену, и, набрав воздух, ответил:

—Рыба куда-то подевалась, не можем нащупать хода, а ТИРХ чего-то не помогает...

Вот тебе и на! «Не можем нащупать хода!». Да как его нащупать, не щупая? Ничего. Вот колхозники из «Пролива Стрелок» захотели, так нащупали, эстонцы из «Нового мира» тоже нащупали. Нет рыбы у берега—они идут в далекое море; нет у р. Аскольда—они идут к мысу Поворотному; мало рыбы ночью—они пошли искать ее днем. И, понимаете, сделали открытие.

В самом деле. За все 8-9 лет, как ловится иваси, никто ее днем не ловил. Пустил какой-то «авторитет» мнение о том, что чуткая рыба днем видит сетки и, кроме того, забирается страшно глубоко—не достанешь, и на это идиотское мнение держали равнение даже довольно смекалистые хозяйственники рыбного дела. И когда краевой комитет партии в разгар путины бросил лозунг—за круглосуточный лов!—к нему отнеслись несерьезно, кой-кто его замалчивал, а многие в открытую сопротивлялись—вот, де, мол, какие нереальные лозунги дают, поработали бы тут, поближе к рыбе, тогда узнали бы, можно ловить иваси круглые сутки или нет.

Можно, оказывается. Колхозник Федор Ботнарь вышел в море второй раз в сутки днем и отхватил 48 центнеров за десять сеток! Он тоже слышал разговоры про то, что рыбы нет—решил просто пытнуть. Вот и пытнул. И скорей понесся на государственный промысел сообщить об этом, скорей просил передать об этом во все колхозы, да через газету, да через радио.

Именно об этом мы сегодня и рассуждали в палатке починщиков сеток четвертой бригады т. Ли Ки-тока.

Кавасаки татакает мимо неводной базы. Бортом чуть-чуть не задеваем крыло самого крупного невода. На берегу видны домики ловцов, по галистому отвалу ходят люди и козы. Меж неводов, у самых ловушек

стоит дежурный кунгас. Пак Чун-га сидит со мной рядом на бочатах. Он хорошо говорит по русски. Я закрываю глаза—и нет около меня корейца Пак Чун-га, льется чистая русская речь. Он рассказывает как раз про неводную базу, как она хорошо работает, сколько поймала и как ее премировали и занесли в красный почетный список, который, как он слышал, составляется там, в Хабаровске. Рассказывая о неводной базе, Пак Чун-га будит в себе рыбацкую зависть.

— Эх, а мы только один раз и взяли хороший улов. Ты понимаешь, с песнями сетки поднимали. Ух и весело было, когда мы открывали трюм—полный трюм набили—87 центнеров...

— Ну, а чего же срезались теперь?

— В море мало ходим, рыбу не ищем, боимся замочиться,—хитро подмигивает Пак.

★

Пятнадцать миль в открытом море достались нам тяжело. Семь раз останавливался проклятый «Табата»-мотор. Катаев, моторист, высовывая голову из своего «моторного отделения», кричал:

— Вот, мать ее, на бензине работает, а как только на керосин, так сейчас—стоп!

Шкипер Ким Ке-юли смотрит на него с сожалением и в то же время со злобой. Катаев—моторист со стажем в 27 дней, из которых 25 он ходил учеником старого моториста Сени.

— О, Сеня был хороший моторист! Сеня—как и мы. Ему одинаково, что и нам, хотелось больше поймать, и он знал мотор,—говорит Ким Ке-юли.

Но Сеню вдруг, ни слова не сказав шкиперу, сняли и дали ему работу в механической мастерской. Зачем? Разве много мотористов? Нет. Их не хватает тем

более сейчас, когда ребята десятого года идут в Красную армию. И все-таки Сеню сняли, доверив мотор Катаеву.

Седьмой раз мотор стал в очень ответственный момент, когда шкипер, выбрав место, распорядился выбрасывать сетки. Взъерошенный, несчастный Катаев гадал — что же случилось? Когда он подливал бензин, из выхлопного клапана кидалось пламя и мотор глухо стрекотал и вновь задыхался. Тогда Катаев снял карбюратор и остервенело его изучал. Мотор был японской марки. Это он знал наверное...

Ловцы ставили сетки под юлу. Юлил бригадир, ловцы, помогал я. Потому-то вместо 10 минут сетки ставили полчаса.

Итак, я осмотрелся. Мы были в открытом море. Сквозь фату осенней приморской ночи рельефно были видны берега на десятки миль кругом. Мы стояли напротив Тафуина—виднелись даже его огни. Вокруг нашего кавасаки в двух-трех милях качались сигнальные фонари кунгасов и шаланд с соседних промыслов и колхозов.

Началась тихая ночь ожидания хорошего улова. Те Хе-сен, поужинав раньше других, ушел в кубрик спать. Он был старик, Те Хе-сен. Пак Чун-га и Вар Пар-бон на поддев, длинной лесой с якорным крючком на конце, с кусочком иваси на наживку, таскали одну за другой каракатиц, плевавших густой черной слизью — сепией.

Каракатицу теперь ловят все. На одном Путятине наловили и насушили больше полсотни центнеров. Каждый центнер—150 золотых рублей. Каракатица (по японски «ика»)—ходовой экспорт. В сушеном виде —она лакомое блюдо восточных ресторанов. Но Пак Чун га не брезгует и сырой. Он отрывает от свеже пойман-

ной, вздувшейся каракатицы лопасти, болтающиеся как свиные уши, и жует не без аппетита и удовольствия.

Я искренне рад, что каракатицу ловят. Помню, весной вместе с членом коллегии краевой РКИ т. Русским мы были в районах Приморья к северу от Владивостока и везде проповедывали в числе прочих второстепенных, но очень доходных видов морской добычи, и вот эту каракатицу—пузатую, со множеством щупалец, похожую на маленького сигарообразного осьминога. Проповедывали, как вижу, не зря. Ловят ее с охотой. Ни один кавасаки не возвращается без нескольких десятков каракатиц.

Каракатица очень любит иваси. Сейчас в сетках попадается много ивасинок, которым каракатица вырвала брюшки, хвост, голову. Она всегда там, где иваси. И поэтому часто, когда поднимаются сетки, в них среди иваси и скумбрии отдувается, плюясь сепией, каракатица.

★

На море тишина. Кавасаки стоит на «якоре» всех 18 сеток. Я пользуюсь случаем. Тишина очень полезна.

Сегодня на восьми кавасаки в море выехали пропагандисты партийной ячейки. Всем им задача—рассказать ловцам о второй пятилетке, об исторических решениях 17 партконференции, о походе нашего Дальневосточного края во вторую пятилетку.

Восьмой пропагандист—это я.

Мы на кавасаки № 59 беседу начали, не собираясь даже в кружок у фонаря «Летучая мышь». Продолжался лов каракатицы. Шкипер был на носу кавасаки и зорко глядел за порядком сеток—как бы их не спутало

течением. Ли Ки-ток лежал на крыше трюма навзничь, лицом к звездам. Миль за 40 от нас был Владивосток, и мы видели, как над ним скрещивались лучи прожекторов. Ночь была накануне МЮДа. Тихо я начал рассказ. Минут 10 говорил о достижениях 1-й пятилетки, о фундаменте социализма, о гигантах, построенных на Днепре, у Дикой горы Магнитной на Урале, на Волге у Сталинграда, на реке Миассе в старой Челябе, в степях Казакстана, в горах Кольского полуострова, на Оби, на полях Северного Кавказа и у нас, на Дальнем Востоке, который на целых пять лет отстал от всех других областей и краев страны, разграбленный и вымотанный белобандитско-интервентскими ордами, но который догоняет передовые края страны теперь, во вторую пятилетку.

— Вторая пятилетка! Трудно сказать мало и хорошо об этом великом большевистском плане. Вот партия, у которой был вождь великий Ленин, а теперь вождь—лучший ленинский ученик — Сталин. Эта партия ставит задачу: продолжать строить все новые и новые заводы, фабрики, города, чтобы вовсе не зависеть от заграницы, а, усваивая передовую, богатую достижениями технику, самим стать передовой в Европе, технически мощной страной, укреплять совхозы, МТС, колхозы, окончательно ликвидировать остатки кулацкого класса—класса мироедов, кровососов, построить социалистическое общество, построить социализм.

Окрепнет страна—улучшится положение рабочего класса, всех трудящихся, мы, как никакая другая страна, будем иметь вдоволь хлеба, мяса, овощей, обуви, одежды—всего, что надо. Мы построим во вторую пятилетку особенно много заводов и фабрик, делающих то, что нужно человеку повседневно. Мы счастливы—у нас впереди дальнейшее улучшение всего положения. А послушайте, каково рабочему, трудящемуся человеку за

границей, там, где лопается капитал, опившийся рабочей кровью.

Рассказал я вычитанную в нью-йоркской газете «Новый мир» историю одного безработного негра, которого безработные в Манхэттэне, кровожадном богатом куске Нью-Йорка, звали «Баритон» за приятный бархатистый голос. Баритон был бездомным. Днем он пел на улицах, но его, ругая «черной собакой», гнали прочь с аристократических улиц в Гарлем—город негров. На ночь Баритон забирался в мусорные ящики, под лестницы домов, тревожно засыпая под урчанье голодного желудка. Так шла его жизнь до зимы. Наступило, наконец, это страшное время для безработных. Баритон однажды на ночь укрылся под лестницей одного дома. Он дрожал. У него не было даже пальто. И этой ночью его обнаружил хозяин и выгнал прочь, на мороз, на улицу. Бездомный негр ушел на кладбище и забрался в холодный каменный склеп. И там застыл. Его тело нашли через четыре дня. Бедного Баритона обглодали крысы.

Товарищи по безработице—белые и черные—устроили ему революционные похороны. С красным знаменем они понесли гроб Баритона через жестокий капиталистический город. Но и мертвому негру полиция заградила путь. Была кровавая схватка. Худо, очень худо живется рабочему там, по ту сторону. Мы с вами его единственная надежда. Мы победим—значит победит и общее мировое рабочее дело.

Тут уж говорил не только я, но и Пак Чун-га. Дело в том, что у Пак Чун-га брат живет в Корее. Положение Кореи известно какое—вторая Бессарабия. Его брат со всей деревней изгнан из нее. Она снесена с лица земли, там строится аэродром. Брат просится к своему советскому брату.

Разговорились. Ли Ки-ток вспомнил про интервенцию, про Николаевские события, участником которых

был он. Его интересует, как и всех, почему империалисты точат на нас зубы, а в штыки не идут, и, если пойдут, то как мы-то—достаточно готовы? Сумеем отбить? Сила то есть?

Тогда я напомнил ему про 29 год. Как так не идут? Пробовали, да ничего не вышло. А дело то было в начале пятилетки, сила у нас тогда была малая по сравнению с нынешней. Пятилетка создала у нас мощную промышленность, которая укрепляет нас и в военном деле. У них самолеты—и у нас самолеты. У них газ—и у нас газ. У них автоброня— и у нас автоброня. Зато у нас еще кой-что другое: люди—товарищи! Люди в нашей армии особенные, отборные. У нас классовая армия, отлично воспитанная в революционном духе, хорошо обученная, бодрая и храбрая. И, кроме того, она у нас международная. Ее солдаты — не только мы с вами, а и немецкие рабочие, и английские, и французские, и японские, и китайские—все, кто за Ленина, кто за рабочую и крестьянскую трудовую власть советов. Понятно?

— Понятно,— говорит Пак Чун-га.—Ладно сказал. Понял. Значит мы вон какая сила. Да... А я тоже все думал—чего нас они не трогают?!

Еще задавали вопросы. Много. Пак Чун-га упрекнул меня, что я мало говорил о второй пятилетке Дальнего Востока. Утром я понял, почему он упрекнул. Сам то он знал об этой пятилетке. Когда рассветало, я увидел, как он, лежа в кубрике, читал изданную на корейском языке книжку о второй пятилетке Дальневосточного края. Увидев меня, он улыбнулся.

— Вот, видишь, я читаю. Ты прав, конечно, что у нас много хорошего впереди. Хороший будет наш край...

— Но, Пак Чун-га, без хорошей работы сейчас — трудно будет после. Сейчас везде долги надо подчистить...

— Верно. А у нас что ни день, то долгу больше. Мало рыбы, завод стоит...

— Поднажать надо, время и рыба еще не упущены. Кавасаки выполнят план, завод выполнит — вот так и сложится общая победа, пойдем во вторую пятилетку без хвостов и остатков на всем рыбном деле края...

Дремавший Ким Ке-юли вскочил. Кавасаки качнуло. Шкипер стал будить остальных.

— Пора поднимать сетки! Пора! Смотри, как затонули бочата — в сетках играет рыба.

Утро было сырое, туманное, не видать берега. Куда делась вечерняя прозрачность неба, легкость воздуха, осенняя морская красота!

Быстро поднялись — и за сетки.

Через кружало поползла первая сетка и заплескалась в ней первая серебристая иваси. Когда сетка была тяжелей предыдущей, Пак Чун-га кричал:

У промысловой пристани

— Эй, скорей, веселей! Это тянет аэропланом! Веселей!..

Мы взяли 32 центнера. В эти дни малых уловов —порядочный под'ем.

★

Был десятый час утра, когда мы по компасу сквозь дождь и туман вернулись в бухту, на промысел. Три кавасаки нашей бригады были с малым уловом (5-7 центн.). Хороший улов взял маленький шкипер Ким Ден-мук или, как его звали русские, «Вася» с «десятки». Сетки Ким Ден-мука подняли около бухты Вампауша около 40 центнеров иваси. Его командой кроме того была убита акула, взятая на крюк. Большая акула, которую вытаскивали на пристань восемь человек.

С таким же добрым уловом пришел кавасаки № 3 из бригады 5 и № 34 из первой. Стали ребята в четвертой бригаде подсчитывать. Подсчитали и улыбнулись.

— Хорошо, товарищи! Вторая бригада сегодня впервые отстала. Наш улов, наконец, пересадил ее в автомобиль, а четвертую бригаду — на аэроплан.

И Ким Ден-мук, и Ким Ке-юли, и Пак Чун-га широко и радостно растопили лица в улыбке.

Качаясь, я шел выспаться в барак. Навстречу попалась «англичанка», так здесь зовут высокую и худую радистку в круглых очках. Шла она с пачкой радиограмм.

— Позвольте взглянуть!

Позволила.

Радио говорило в этот день:

— Промысел Рейнеке выслал на улов 59 парусных единиц и взял 165 центнеров.

— Остров Попова выслал 38 кавасаки — 134 центнера.

— Промысел Старк выслал 28 кунгасов — 95 центнеров.

— Промысел Анна выслал 24 шаланды — 80 центнеров.

Везде помалу. Везде были в море на лове раз в сутки, в ночь. Пойдут ли днем?

— Ли Ки-ток! — кричу я на берег, — смотри, не сорвись, сегодня дневной, второй выход!

Ли Ки-ток отвечает:

— Слышу! Через час пойдем в море!..

В бараке я, не раздеваясь, лег заснуть. «Через час в море». Кажется, успел закрыть и открыть глаза. Спал, таким образом, 35 минут. Побежал подальше от причалов под сопку, разделся—и в море. Денек стал разыгрываться — повеселело солнце, разогнав тучи, стих и сам ветер. Пролив Стрелок вновь забирюзовел прозрачностью воды. Одно погружение в воду мне вернуло бодрость. Можно снова в море, за рыбой!

Днем выход на лов удался не всем. Но все же удался. И результаты блестящие. Наш кавасаки у бухты Бампауша, там, где повезло Ким Ден-муку ночью, взял днем 34 центнера. Сетки были на глубине 4-х махов (4 метра) и стояли они не больше двух часов. Вар Пар-бон потом рассказывал на берегу: «Не успели закурить, смотрим — бочата затонули. Ага, рыба есть, сетки тяни!». Он, конечно, немного преувеличил, наш Вар Пар-бон.

На промысле был сенсационный день. Дневной лов — новинка. Как уж ему ни сопротивлялись, а упорство ударников все-таки доказало, что днем иваси есть —только лови.

Это я и записал в свою тетрадь в ночь на 8 сентября.

И в сентябре уже дневной лов был поставлен не

как опыт, а как обязательная промысловая задача, и за него стали драться.

Пусть край не забудет, что первопочин дневного лова иваси сделал Федор Ботнарь, рыбак из колхоза «Пролив Стрелок», а впервые организованно вышла на дневной лов корейская четвертая бригада промысла острова Путятина.

3

Путина в проливе Старка

В десяти милях от Владивостока, прямо за Русским островом, недалеко от бухты Боярин есть маленький промысел Дальгосрыбтреста—Старк.

Промысел очень маленький: всего 24 кунгаса, 15000 центнеров рыбы—план.

—Подумаешь, промысел! Да если и ничего не поймаете, так не велика потеря...

Так отзывался о нем даже Гусев—зам. предправления ДГРТ.

Директор промысла Шульский просил, бывая в тресте, поддержки реальными кусками леса, сетками, гвоздями, брезентом, солью, а в тресте отмахивались

от назойливого директора промысла с пустяковым планом:

—Не до тебя, Шульский,—нам бы крупные промыслы обеспечить...

Будь Шульский из породы любителей самотека и об'ективщины—продолжал бы он надоедать тов. Гусеву и сорвал бы план при поддержке и с благословения последнего. Но Шульский понял, что 15000 центнеров—это, собственно, ого-го, сколько рыбы, когда для страны сейчас каждый центнер дорог.

Шульский больше в трест не поехал.

На самом промысле началась горячая подготовка к путине. Ближайший помощник директора завловом Алексей Ким, рыская по соседним промыслам и стройкам, искал излишки леса. И, случалось, находил. Покупали и занимали. Плотник Малаховский день и ночь ремонтировал кунгасы. Бондарь Язычков приводил в годный вид старые бочки и делал новые. Ловцы О Чи-шени, И Чи-зами, Ким Сен-дин, Квон Начири и другие ревизовали и чинили сетки, консервируя (укрепляя) их в смоле и краске, делая прочным то, что осталось от прошлой путины. Ремонтировали засольный сарай. Жены ловцов мазали стены новых фанз, ставились высокие, удобные вешала для просушки сеток.

Шульский, директор промысла „Старк" в путину 1932 г.

С севера шли вести о последних больших уловах сельди, с юга подступала иваси. И промысел Старк был уже в полной готовности...

9 июня, когда один из гигантов, о которых так «активно» заботился Гусев, промысел Зарубино, еще спал, Старк на своих парусниках взял первым в Приморье первые центнеры иваси.

Так началась путина на маленьком промысле в проливе Старк между Русским островом и островом Попова.

★

На промысел мы с инструктором горжома Ханом попали накануне начала октября, об'явленного ударным месяцем на путине.

На пристани промысла было еще пусто. Хотя время-то полдвенадцатого — полдень. Алексей Ким стоит у береговой конторки и, щурясь, смотрит в обе стороны пролива. Его особенно беспокоит О Чи-шени.

—О Чи-шени нет уже второй день,—говорит он нам. Далеко что-то ушел шкипер...

Ким бежит к первым вернувшимся с ночного лова кунгасам второй бригады.

— О Чи-шени видели? Ведь вы стояли у Песчанного мыса?..

— Мы стояли у Песчанного, но О Чи-шени не было

Старый Шин Чо-куан из бригады О Чи-шени ловко и быстро чинит сети.

там,—отвечает И Чи-зами, бригадир,—но я знаю: О Чи-шени ушел далеко-далеко. Он вчера мало поймал. Пошел в другое место...

Прошел час, может быть больше. Все кунгасы уже были у причалов, отцепщицы проворно вытаскивали затвердевшую иваси из ячей сеток. Вон там за мысом от бухты Боярин показался квадратный парус—плавно к промыслу шел кунгас.

— Это О Чи-шени, узнаю его парус,—сказал Ким, и мы пошли к свободному причалу, куда подошел этот кунгас лучшего ударника промысла, кунгас с полным грузом рыбы. О Чи-шени сегодня в восемь часов утра в открытых водах залива Петра против острова Римского Корсакова взял 57 центнеров—богатый улов.

Кунгас О Чи-шени—гордость второй бригады, которой в свою очередь гордится промысел. Этот кунгас первым 25 августа выполнил свой годовой план. Говорят, что тогда всегда молчаливый О Чи-шени выступил с коротким словом на собрании ловцов:

— Я думаю, что не 600 центнеров, а 1200 можно взять на кунгас за путину. Рыбы очень много, надо ее искать. Вчера я сетки ставил на шесть махов. Раз не видать рыбы у берега—уходи дальше, а если рыба близко—ходи чаще. Я хочу дать за путину 1200 центнеров. Быть может Ким Сен-дан и Нам Иван тоже скажут свое мнение.

Ребята подумали,—дело такое: подумать надо—и завтра сказали:

— Давай, товарищ О Чи-шени, чья возьмет...

И вот с 25 августа каждый выход соревнуются эти три кунгаса и ни один не дает обогнать себя другому больше чем на 15-20 центнеров. Все они выполнили годовой план, но первенство держит еще О Чи-шени:

он вчера привез 17 центнеров, которыми начал восьмую сотню на пути к 1200 центнерам.

★

Сегодня—20 сентября. На путине начинается ударный месячник. Вторая бригада в этот месяц будет бороться уже за встречный план, за дополнительные 2500 центнеров иваси. На промысле в этот день кстати пришелся первый крупный праздник—вторая бригада выполнила годовой план. Восемь кунгасов под руководством И Чи-зами, опытного и старого ловца, авторитетного бригадира, дали свои 5000 центнеров и уже сверх того—23 центнера.

Две других бригады отстали каждая на тысячу центнеров.

— Почему?—спрашиваю я И Чи-зами.—Почему же твоей бригаде досталась лишняя тысяча центнеров, товарищ И Чи-зами?

Я знаю, что бригадир не назовет одной из главных причин, бригадир скромен. А он сам и есть эта причина: И Чи-зами любят и слушают ловцы. За его плечами—тридцать два года лова, и на его лице—улыбка добродушия, а в глазах—деловое участие. И Чи-зами не спит ночей. Он всегда выезжает в море с бригадой, сам проверяет постановку сетей, сообразуясь с течением, об'езжает все кунгасы, и ночью и при подъеме проверяя самолично состояние сеток, заботится об их хранении. Он очень хороший товарищ и в то же время он требователен и суров, когда это нужно, со шкиперами и ловцами.

Качество работы бригады определяют выходы на лов. Это знают теперь все. Выходы определяет дисциплина. Железная дисциплина в бригаде т. И Чи-зами.

За всю путину был всего на всего один прогул одного кунгаса—уж очень он нуждался в ремонте.

И Чи-зами действительно ищет рыбу. Он ежедневно опрашивает не только другие бригады своего промысла, но и соседнего, где и как шла рыба. Однажды он выехал в город,—было личное неотложное, свое дело,—и в городе, на Семеновской пристани услышал от ловцов колхоза «Гигант», что они сегодня утром у выхода из Амурского залива взяли порядочный улов. И Чи-зами бросил свое неотложное дело, немедленно вернулся на промысел и повел бригаду в новое место. Улов был вдвое больше предыдущего.

Бригада бережет сети. Сушка идет на высоких вешалах с переборкой. Быстро и прочно. Кроме того шкипер Нам Иван с кунгаса № 12 первый стал сам отцелять улов до 5 центнеров по пути на промысел и, прополоскав сети, сушить их на мачте. Теперь это делают все. Этот почин Нам Ивана имеет особенно большое значение при двух выходах на лов.

Наконец, кунгасы второй бригады чаще, чем другие, делают по два выхода на лов в сутки. Дневные выходы удваивают итоги суток: дают рыбы они не меньше ночных. Кунгас № 4 однажды, когда все после ночного лова возвратились с 5-10 центнерами, привез 30 центнеров.

Вот почему бригаде И Чи-чами досталась лишняя тысяча центнеров.

☆

Решили все ловцы на Старке по поводу первой победы бригады И Чи-зами, совпавшей с началом ударного месячника, сегодня сделать собрание.

Надо отметить хороших людей. Чудесно работают товарищи корейцы на Старке. Кого ни возьми. Я, например, с интересом слушаю рассказ о Ким Сен дине.

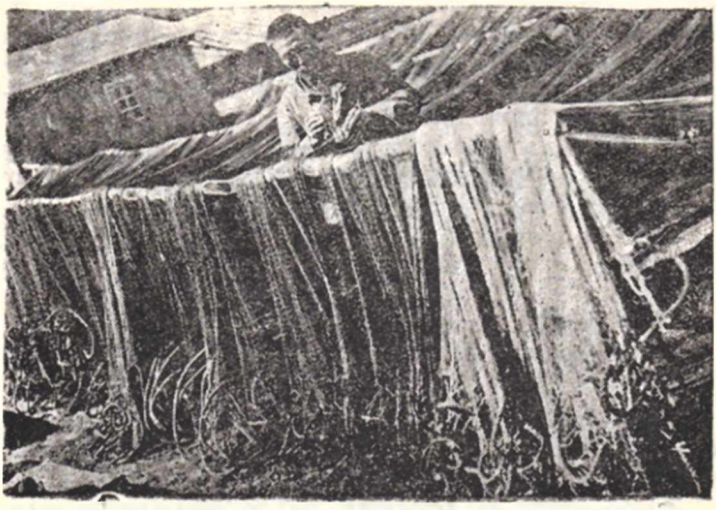
Принцип этого шкипера — не приходить на промысел без рыбы.

Его кунгас — ведущий в третьей бригаде. Он — коммунист. Упорный парень. Крепче гранита.

Здесь помнят, что Ким Сен-дина однажды не была подряд три дня, зато он привез рыбы столько, сколько привезли в тот день все остальные семь кунгасов третьей бригады.

Так было и сегодня, в первый день ударного месячника. Но сегодня интересней и ценней тем, что Ким Сен-дин поднял сетки в полдень.

Ушел на лов он позавчера вечером. Ни вчера утром, ни сегодня утром промысловые причалы не видали его кунгаса. Сегодня он пришел с моря после обеда,



На высоких вешалах сетки быстрее сохнут и их удобнее чинить

когда ловцы и рабочие засольного сарая, собравшись на скамьях у столовой, уже обсуждали доклад тов. Хана об ударном месяце на путине. Ким Сен-дин привез больше 40 центнеров дневного улова.

Отцепщики и его команда разбирали сетки, а он, большой и лохматый, пришел на собрание и выступил первым после Хана. Он сказал торопливо, словно боясь растерять слова:

— Я был у Столовой горы. Вчера утром и сегодня утром сетки были пустые. Я снова поставил их и поднимал, когда солнце стало над головой. И вот—видите?—я пришел с уловом. Значит мой кунгас сегодня имеет 130 проц. годового плана. Я приветствую партию, которая руководит нами, направляя наше стремление, и говорю: мы победим, если будем все на путине понимать, что она значит для государства, мы победим, если все будем ударниками в море, если будем говорить друг другу, где и как лучше поймать рыбу. Я беру на буксир 28-й кунгас. О, ты не сердись, пожалуйста, тов. Осташин. Я тебе буду помогать, как друг, как товарищ! А сегодня давай все идем к Столовой горе, где я взял хороший улов. Там косяки играют...

И шкипер, сильно ступая, ушел на пристань. Он не мог здесь оставаться дольше: надо было помогать отцепщикам и своим ловцам снять привезенный улов. Иваси—нежная рыба. Нельзя, желая высокого качества держать ее долго под солнцем. Скорей из сеток в чан, в тузлук!

★

Хорошо поговорить с секретарем ячейки этого промысла.

— Моя мечта—чтобы на каждом кунгасе был ком-

мунист. Я на это и бью,—говорит он.

Борисов сдвигает металлические очки на морщинистый лоб и перебирает пальцы:

— Теперь коммунистов на лове стало вдвое больше, чем было с начала путины. Вот они: Ким Алексей, Ким Хан-нам, Ким Сен-дин, Ли Чи хен. А вот новые, только что подали заявления и приняты: ловец Шин Тхе-куани, ударник-шкипер Нам Иван, пом. моториста Ю Ге-ден и, наконец, пришел в ячейку с заявлением Квон Нагири, бригадир первой бригады...

Подали заявления в партию, действительно, лучшие из лучших, и ячейка, еще более срастаясь с ловецкой массой, ведет ее за собой, по следам коммунистов, передовых шкиперов, бригадиров, ловцов...

Трудности партмассовой работы в условиях промысла велики. Борисов — неосвобожденный секретарь, он ведет не малую работу по общему руководству ловом. Но он не одинок: у него в активе такие сильные ребята, как Ким Алексей, зав. ловом, который, будучи организованным, заботливым администратором, уважаемым ловцами, является активным, горячим пропагандистом, борцом за партийную линию, борцом за партийные решения на конкретном деле.

Работать трудно потому, что хотя от города всего десять миль, но на промысел даже владивостокское «Красное знамя» приходит на вторые, третьи сутки с попутчиками. Чертовски худо работает почта! Хорошо, что помощь деловую—советом, материалом, руководством оказывают товарищи из владивостокского горкома.

И все-же ячейка Старка—крепкая, ведущая, ударная. Она сумела охватить промысел своим влиянием. Под ее руководством, душевным и близким, буквально перерождаются люди.

Вот бондарь Язычков. В прошлую путину это был, казалось, отпетый человек—пил, прогуливал, ругался. Не узнать теперь Язычкова. Первый ударник промысла. Он отлично обслуживает засольный сарай. Всегда, днем и ночью, Язычков готов работать на совесть, отказался от отдыха даже тогда, когда сбил левую руку: «Не могу,—говорит—отдыхать, сарай зашьется». С такими людьми сарай не зашьется, недаром цех обработки Старка по качеству продукции—передовик в Приморьи. Язычков на-днях тоже подал заявление в партию.

Вот Михайловский, плотник. Ему—пятый десяток. Это он вынес на себе всю тяжесть зимнего ремонта. Он ударник. Стоило услышать его короткую речь на сегодняшнем собрании. Он сказал:

—Товарищи! И в прошлом году и нынче прорыв—это невозможно Я хоть и пожилой, а ударник. С гордостью призываю вас напрячь все силы, чтобы показать приморцам, что работать все могут, коли захотят. Я не могу говорить много, голько скажу, что я обязуюсь—какие будут неполадки на кунгасах, чинить их и днем и ночью.

Не забыть бы сказать пару слов о мотористах.

Мне помнится:

В комнату береговой станции вошел молодой рабочий в фуражке-капитанке. Поздоровавшись, наклонился над столом, упираясь локтями. Перед ним лежал маленький блокнот.

—Ну, как дела, Кисляков? Ваша бригада нынче в именинниках?—обратился к вошедшему Борисов.

Кисляков улыбнулся:

— Выходит, что в самом деле в именинниках. Понимаешь, тов. Борисов, два кунгаса еще не вернулись с лова, и я подсчитал, уже есть, оказывается, все сто процентов. Мы сегодня выполнили годовой...

Я думал, что это помбригадира, это ведь их, помбригадиров, обязанность вести от кунгаса к кунгасу точный учет улова. Тем более я был удивлен, когда узнал, что Кисляков—моторист катера «Старк № 2», который выводит на лов кунгасы второй бригады.

Да, здесь все по-иному, так, как надо бы всюду. Не похожи дела на этом маленьком промысле на суетолоку, которую приходилось наблюдать на многих промыслах.

Везде в Приморье мотористы—это особый цех, и очень часто— сварливая, своенравная публика, с которой трудно о чем нибудь добром договориться.

Здесь вот и мотористы, команды катеров живут интересами лова и работают образцово. Еще ни разу кунгасы не стояли лишние минуты из-за моторов. Моторы всегда наготове.

— Наши мотористы — молодцы, — говорит шкипер. О Чи-шени, — Мы их любим, они понимают нас..

День и ночь стоят наготове три катера, обслуживающие 24 парусника. Особенно безупречен своей четкостью, готовностью, подлинно ударной работой

Готовая иваси проворно укладывается в бочки

катер «Кошельковый № 1», руководимый тов. Куич. Когда был нужен ремонт «Старку», он выручал весь промысел, буквально круглые сутки буксируя парусники на лов и обратно.

Дисциплина на катерах, как и на всем промысле, —образец для всего Приморья. Тут шкипера перед выходом в море не ищут моториста, бегая по баракам Наоборот,—мотористы сами обходят кунгасы, где надо помогают укрепить буксиры, натянуть шпангоуты. Здесь диктатура сигнальной сирены.

— Вчера Кисляков пошел в баню, разделся. Вдруг—сирена. Парень прыг в штаны, и на берег—зовут, значит надо ехать,—передает мне вчерашний факт Шульский.

Кисляков смущенно улыбается.

— Ну уж, ты наскажешь!...

*

На пристани ударил колокол.

Скоро будет собрание. Идем к столовой. Здесь центр промысла. Справа, если смотреть к берегу, на широкую бухту, стоит засольный сарай, слева—кооператив, куда только что привезли обувь, галоши, шали, мануфактуру и сою—лакомую приправу рыбаков корейцев, и прямо против столовой—маленькая школа. В открытую дверь слышно, как черноголовые, черноглазые ребятишки дружно в один голос зубрят:

— Эманинын айдрыйнындыру гаго... (мамаша идет к детям).

Но нет, не идет мамаша к детям. И мамаши из засольного сарая пришли сюда, на собрание.

Собрание, на котором было более трехсот обитателей промысла, открыл бондарь-ударник т. Язычков, и первое слово получил т. Хан.

Выступили шесть ударников лова и обработки. Я решил записать протокол. Записал. Вот он, остался цел

Протокол собрания рабочих промысла «Старк».

Присутствуют 300 рабочих.

В президиуме ударники т.т.: Язычков, Кунч, Нам Иван.

Переводчик т. Ким Алексей.

Язычков. Слово имеет тов. Хэн.

Хан. Я буду говорить сначала по-корейски, потом по-русски. Вы знаете, товарищи, что крайком партии об'явил на путине ударник. У нас в городском районе ваш промысел единственно ударный, вы как следует боретесь за план. Поэтому и ваш ответ на решение крайкома должен быть первым. Что надо ответить? У вас до годового плана осталось около 3000 ц. Если вы будете делать по два выхода на лов, как путятинские ловцы, — то в ваших силах кончить план к 15 октября (с места И **Чи-зами:** «к первому!». Тем лучше. И потом взяться за встречный. Тяните вперед весь район. У вас есть лучшие шкипера района: Ким Сен-дин. Нам Иван, передайте их опыт всем, помните — нам нужна всеобщая победа.

Язычков. С моря вернулся Ким Сен-дин, он просит слова...

Ким Сен-дин. Много у нас неудач на путине, я вижу их, как видите и вы. Об'ясняю это тем, что и многие шкипера и ловцы не придавали путине того значения, которое она имеет для государства. Пусть все это поймут, будут соревноваться как мы, и тогда мы, я думаю, вывезем путину. Мой кунгас с сегодняшним уловом имеет больше 130 проц. годового плана. Сегодня я был у Столовой горы. Вчера утром и сегодня утром сетки были пустые. Я снова поставил и поднял их когда солнце было над головой. И вот я с уловом. Я нашел рыбу. Мы победим и если все будем ударниками в море, если будем говорить друг другу где и как лучше поймать рыбу...

Язычков. Теперь т. Кан Син-чик.

Кан Син-чик. Вы меня знаете, может быть, я ловец с кунгаса О Чи-шени. Простите, что я буду говорить не складно, я не разу не говорил, а сегодня вот решил. Я хочу сказать, что и у нас не все благополучно с выходами, есть и простои лишние, не нужные. Кунгас № 28 почему позавчера на лов не по-

шел — ветер был тихий, парус можно было самим починить. Надо не стоять, а, наоборот, выходить два раза.

Потом, раз мы передовые,—надо-бы помочь другим. Вот Рейнеке бьется, плохи там дела, пошлем туда буксирную бригаду!

Язычков. Скажи теперь ты, т. Кан Чан-хи.

Кан Чан-хи. (Помбригадира второй бригады). Я приветствую решение партии. Думаю, что теперь всем надо выходить по два раза, в этом—единственный выход. Надо значит перестроить и работу берега, сарай должен принимать рыбу в любое время, считая сортность не по времени, а как есть. Отцепщики должны аккуратно теперь выходить на причалы, надо, чтобы дежурили отцепщицы...

Язычков. Ты что-ли хочешь говорить, тов. Малаховский?

Малаховский. (плотник). Я. Дай скажу. И в прошлом году и нынче—все прорыв, это невозможно. Я призываю вас напрячь все силы, чтобы показать пример приморцам, что работать все могут коли захотят. Я не могу говорить много, только скажу, что я обязуюсь какие будут неполадки на кунгасах чинить их днем и ночью. **(Аплодисменты).**

Язычков. Хан Ендо хочет говорить?

Хан Ендо. (Укладчица засольного сарая). От нашего цеха зависит, какая по сорту будет рыба. Мы работаем неплохо, рыбу берут все больше первым сортом. Я хочу только сказать, что если ловцы будут давать рыбы еще больше, то мы справимся тоже, и рыба хуже не будет. Надо только, чтобы трест чаще вывозил во Владивосток готовую рыбу, а мы первое место за нами сохраним. **(Аплодисменты).**

Язычков. Времени мало, скоро выход на лов, а еще многие хотят говорить и Цой, и Ким, и Онуфриев, и Куич.

На этом протокол оборвался.

Говорить хотели многие, но горячее время путины не для длинных разговоров. Пора в море! На корейском и на русском языках было наскоро записано пись-

мо старковцев ко всем рабочим Приморья. Было принято оно единогласно, под аплодисменты.

Минута—и у столовой было пусто и тихо. Только из дверей школы попрежнему неслось:

— Абудинын бадайру нагасимнида (папаша пошел в море). Нагасимнида...

Вы угадали, ребята, папаша пошел в море. Папаши подбирали сетки и паруса, готовя воду, грузила, наплава. 12 кунгасов вытянулись струнко один за другим, «Кошельковый № 1» натянул буксир и повел кунгасы к Столовой горе, где Ким Сен-дин сегодня взял большой улов...

Это было 20 сентября. А к годовщине Октября промысел рапортовал краю о выполнении встречного плана. Годовой план промысел Старк выполнил первым из всех промыслов.

Старика И Чи-зами я встретил уже зимой. Проездом в Хабаровск он зашел в редакцию. Был, говорит, на курорте—премировали его курортным местом. Выглядел бодро, лучше меня.

— Спешу попасть на Старк,—сказал шкипер прощаясь,—у нас там много делов,—путина скоро. Приезжай-же, товарищ!

4

Охотники крабовых полей

Сучан - река здесь врывается в залив Америка Устье Сучана сторожат две конусообразных горы—«Брат и Сестра». Сучан и соленые воды залива полощут их каменные щеки. Отсюда видно белую колокольню церкви—теперь приспособленную под машинную мельницу—в районном селе Владимиро-Александровске и дальше, за селом, уходит в Сихотэ-Алинский хребет долина, широкая как половодье. Там, за хребтом,—горячий Сучан, угольные копи, с прогремевшею партизанскою славой.

А здесь вот, около устья Сучан-реки—маленькая кулацкая деревня Американка. Деревня-паук, со страшным, буквально кровавым, прошлым. Старые хозяйчики ьон этих домов и амбаров ничего не сеяли и не жали, считаясь приморскими крестьянами. Они имели берданы и карабины, а охотились за человеческими головами или, как они говорили сами, за «фазанами» и «лебедями». «Фазаны» же — это китайцы, название, происхождения которого мне выяснить так и не удалось; «лебеди» же—это корейцы, названные так за их белоснежные одежды. Охотились за «фазанами» и «лебедями» в горах, на таежных, пограничных тропах с разрешения царского начальства, которое даже платило за каждую голову по 25 рублей.

«Охота» эта разрешалась официально только на контрабандистов, но так как никто не требовал никаких доказательств, кроме головы, то на мушку попадало и немало честных тружеников.

Сейчас эта страшная деревня стоит наполовину заколоченной. Ее «охотники» в новые годы хотели было приспособиться под колхоз тут-же, в долине, но слишком они были известны—эти кровососы,—и колхоз для них улыбнулся. «Американцы» рассыпались по побережью, маскируясь, причесываясь, пробираясь на советские рыбные промыслы и в колхозы других районов.

Судьба Американки, как и ее хозяев, предрешена. Село погибает. Зато вон там, десятком миль ближе к югу залива, на взлетающем курносом взморье вырастает у всех на глазах первый советский рыбацкий городок—Находка. Там, в бухте, закрытой от моря широким и длинным мысом,—один из очень хороших ивасевых промыслов края.

На промысел мы сейчас не попадем—он по ту сторону бухты. Но отсюда, с горы, где раскинулось старое

село Находка, видны новые, ровненькие, взбегающие на мыс улицы рыбацкого городка, засольные сараи, причалы и десятки мачт промысловых кавасаки.

С этой горы виден весь залив. Ползут серые квадраты парусников, бегают быстрые промысловые катера, в противоположной бухте, Врангеля стоит «Вьюга»—рейсовый пароход из Владивостока: здесь его конечный северный пункт и обратный поворот в город.

Находка—бухта с блестящим индустриальным будущим. Природная глубокая гавань позволит ей быть чудесным портом. Все остальные экономические условия для создания богатого порта тут есть: близкий выход к морю сучанского угля, леса, неистребимые запасы рыб. Ведь это ясно, что здесь—самый центр рыбного Приморья. А для индустриального города просторы так широки! Можно расти на десяток миль, под самую Американку, стерев с лица земли следы паучьих гнезд.

Через перевал от Находки—соседний залив Восток. Он известен Тафуином. Это—один из первых наших береговых крабоконсервных заводов. Началась крабовая путина. Туда мы сегодня и держим путь.

На этом пути, не доезжая трех километров до Тафуина, нас заставило остановиться одно событие. Мы въехали в небольшое село, состоящее наполовину из корейских фанз, наполовину из рубленных изб, в бухте Гайламак. Здесь—корейский рыболовецкий колхоз «Сучан».

Мы уже проезжали село, когда нас кто-то окликнул. Обернувшись, узнаю Ким Дю-хвана—секретаря колхозной партийной ячейки, с которым встречался до того дважды: во Владивостоке и Владимиро-Александровске.

— У-у, товарищи дорогие,—кричал Ким Дю-Хван,— вам сейчас невозможно проехать, не остановившись у нас. Куда едете?

— В Тафуин.

— Ну вот, тем более. Тут-же—рукой подать. Дело в том, что у нас сегодня маленький праздник— первый квартальный план выполнили, начинаем лов краба...

Долго уговаривать мы себя не заставили и спустя пять минут были у причалов, где под веселый галдеж почти всего колхоза шла уборка богатого улова минтая —пестроубранной «царицы рыб», как зовут его китайцы, пойманного сегодня днем шкипером Ким Ен-су у выхода из залива в море. Его уловом кончился квартальный план. Было 8 центеров сверх этого плана.

«Сучан»—колхоз, делам и жизни в котором можно завидовать. Один из зажиточных. 100 корейских семей об'единены колхозом здесь, в похожем на большой сад Гайдамаковом селе. Жили они раньше в темных, душных фанзах, раскиданных по жалким деревушкам присучанских долин. Сеяли мак, овощи, чумизу, кой-кто промышлял контрабандой—голод не тетка. Их били и грабили жандармы, думкинские и «американские» кулаки.

Корейская беднота в колхоз не принесла ничего, кроме мотыг, тяжелых жерновов—чумизных фамильных мельниц, да больших стай черноголовых ребятишек. Получили помощь от государства деньгами, провиантом, снаряжением, приложили свой труд, и получилось крепкое и надежное социалистическое хозяйство. Сейчас в Приморье—это один из богатейших колхозов: улов рыбы и крабов около 15.000 ц., свой флот в 14 шаланд и 6 кавасаки, сотни га посева зерновых и бобовых культур, скот, новые жилые дома, новая школа, где учится 200 ребятишек, и плюс — нынче осенью открылась здесь, в Гайдамаке, первая моторно-рыбная станция, которая с весны поведет на своем буксире колхозные шаланды за рыбой в открытое море.

Пока жил в Тафуине, я любил вечерами приходить сюда, за три километра, разговаривать с колхозными людьми. Приходили сюда и тафуинские ра-

ботницы. Весело жил такими вечерами залив Восток! Девушки с Тафуина пели горячие песни. Голосистые рассейские распевы плескались в огромной лагуне. Девушки вспоминали далекую Волгу:

Что мне делать—ум расшелся—
Волга-матушка река?
Пропал милка—не нашелся—
Широка и глубока...

★

Тафуин глядит прямо на далекий-далекий Поворотный мыс, откуда утрами приходят кавасаки с уловом. Весной и осенью их улов—десятиногие крабы от 25 сантиметров до целого метра в диаметре на растяжку.

Поселок из трех десятков бараков конусом сбегает вниз, к морю. На самом берегу—завод, где из крабов делают дорогие экспортные консервы.

Народ в поселке и заводе—молодой. Считается Тафуин комсомольским. На промысле 105 комсомольцев и еще такой-же цифры молодой комсомольский резерв.

Вечером в день приезда мы сидели за чаем с Косачевым — комсомольцем—директором завода, недавно окончившим курсы хозяйственников-рыбников. На столе—чай, сахар, хлеб, белое мясо краба, вывалянное на тарелку из баночки, опоясанной этикеткой с английским текстом и красным крабом, а рядом, в особой баночке, крабовая икра.

— Пробуй,— говорит Косачев,— это мы изобрели. Обдомину—икру самки—всю выбрасывают в море, а мы ее приспособили на экспорт. Страшно дорого за нее платят...

Я вижу в баночке твердую желтовато-коричневую массу, похожую (не испортить бы аппетита,) на сапожный крем, пахучую, как сыр бакштейн. Врезаюсь в нее

ножом. Кусочек попадает в рот. Рассасываю его — как швейцарский сыр, пожалуй, с близким ему и вкусом. Косачев продолжает:

— Дают чуть ни по пять иен за банку. Хорошо. У нас это был почти утиль.

Комсомолец-директор рано утром ушел на завод. Работал пока разделочный цех. На конвейере шла подготовка. Кавасаки привезли свежего краба. Технический директор—комсомолец Калашьянц—обошел причалы, где кореянки с помощью острой палочки выпутывают крабов из сеток. Калашьянц остался доволен — краб второй день привозили крупный. Улов повышался.

Как всегда особо порадовал пятнадцатый кавасаки с комсомольской командой и беспартийным молодым шкипером Хангиром. Его ловцы—Пак Керен, Ли Кым-сек, Нам Фыр-чон и Ли Ган-сур—привозили после каждого под'ема сеток не меньше тысячи крабов. Вот и сегодня — 213 крупных и 800 мелких.

— А у вас сколько крупных? — кричит Калашьянц шкиперу соседнего 42-го кавасаки.

— Сто и 814 мелких, — отвечает шкипер.

— А у вас? — вопрос 41 му кавасаки.

— Сорок два и 206...

— А у вас? — вопрос 31-му кавасаки.

—Тоже сорок два и 229.

На остальных улов еще ниже.

— Хорошо у вас дела идут, — кричит Калашьянц Хангиру и, посвисывая, идет на завод. Сегодня в общем и целом сырца хватит, только бы не подвели девушки...

Кореянки выпутывают крабов из сеток и складывают в кучи, отбирая отдельно самцов и самок. Тут-же на пристани идет и второй процесс—снимается пятнистый, красный с серым панцырь, вырывается ядови-

тая печень и обдомина — рыжая икра самок. Затем транспортер сбрасывает ободранных крабов в крабоварку — деревянные чаны с кипяченой морской водой — самцов в одну, самок — в другую. Первым надо пробыть 20 минут с того момента, как закипит вода, вторым — лишь 12 минут. Отварившись, самки мелко крошатся и сушатся на солнце, потом утильзавод их перемалывает на экспортную муку, а самец попадает в рубку, на столы девушек с большими ножами, и совершает весь закономерный путь до покупателя консервов.

Девушки на рубке начинают процесс обработки: по суставчику отрубается плечевая розочка, вытряхивается коленце, одним ударом ломается клешня и на лотки подбирают один к одному белые, с розоватыми полосками, куски крабового мяса.

Калашьянц быстро обходит столы укладчиц. Сейчас начнет работать конвейер. Мимо них поползут светлые банки с аккуратно, стаканчиком вложенной в них пергаментной бумагой. Надо, не сбиваясь с хода конвейера правильно, по стандарту уложить консервы: сначала положить плечевую розочку — самый вкусный и сочный кусок, потом два маленьких суставчика и толстый кусок посредине, затем коленце, тонкий кусочек и коготь, все свободное место заложив мелко нарубленной «лапшой». Покупатель строг, покупатель требователен: чуть в ином порядке — брак целой партией, без разбору. Это — консервы-валюта.

У нас многие не любят крабов как не любят трепанга или устрицу. Вкус этих продуктов моря им кажется чужим, далеким от вкусов, отстоявшихся в освященном веками меню. Но краб от нашей отечественной к нему антипатии в цене не упал. Он остается дорогим, лакомым блюдом восточного рынка и утонченных гурманов американских буржуа. Ну и пусть

Краб, как и трепанг и устрица, помогает увеличивать производство таких продуктов, которые нам по душе. На деньги, которые мы получаем от экспорта краба, —а это не один золотой миллион рублей,—многое возможно в этой области.

Крабом теперь богаты только наши советские дальневосточные воды. В Японии хищнический лов из года в год ведет к уменьшению крабов. Если в 1918 году Япония выпустила 138.000 ящиков крабовых консервов из улова в собственно японских водах, то через 10 лет, в 1928 году—только 32000 ящиков, увеличивая лов в советских водах ДВК, близ северного Сахалина, на концессиях. Здесь улов прогрессивно рос, поднявшись с 61000 ящиков в 23 году до 525000 ящиков в 1929 году. Кстати—это был последний год расцвета крабовой промышленности Японии. Кризис ударил не только по шелковым фабрикам. Антияпонский бойкот почти закрыл для Японии и все поглощавший крабовый рынок Китая. Уже в 1930 году сократилось число японских краболовов и общий улов упал до 402000 ящиков, еще через год лов упал до 254000 ящиков, а еще через год (это уже самые последние данные, за 1932 год) лов упал до 173,000 ящиков.

Как раз в эту пору вставала на ноги заново созданная советская крабоконсервная индустрия: на пороге первой пятилетки в наших дальневосточных водах появился первый краболов—плавучий крабоконсервный завод, который может на большом расстоянии искать косяки краба. В путину 28 года появились на рынке первые банки крабовых консервов с красной звездочкой и пометкой «Сделано в СССР».

Тогда мы еще целиком зависели от японцев: и пароход купили у Японии, и переделывали его под краболов под руководством японцев, и сетки были япон-

ские, вплоть до похожих на крокетные шары стеклянных наплавов, вспомогательные суда кавасаки-разведчики на лове и обработке также работали японские, с исключительно японскими рабочими.

В путину 29 года мы имели уже три краболова.

Под руководством японских учителей и руками японских рабочих были выпущены в 29 году 50000 ящиков консервов. В следующем году краболовов стало пять, и впервые к конвейерам, на лебедки, на мойку, на лов стали половина наполовину наши советские рабочие. Мы начинали свое хозяйство брать в свои руки, сделав первые шаги к освобождению от японской зависимости. В этом году пять краболовов сделали 70.000 ящиков консервов.

Теперь советский Дальний Восток имеет уже десять плавучих заводов, которые ловят и перерабатывают краба летом у берегов Камчатки, осенью в Приморье, в заливе Петра и кроме них—шесть береговых заводов, таких вот, как этот, Тафуинский, которому исполнился лишь второй год. За это время крабовая промышленность стала подлинным валютным цехом края, почти целиком завоевав экономическую независимость. В 32 году я на краболовах уже не встретил и 10 проц. японских рабочих, нашел советские сетки, наплава, кавасаки, построенные на владивостокских эллингах, оборудованные советским мотором «Победа», по отзывам старательных мотористов ничем не уступающего японскому мотору «Табата», в крабопромучае готовятся молодые, сильные кадры крабовой промышленности, «4-й краболов» стал плавучей школой-заводом.

Это хорошо. Это радует сердце. Но работают советские краболовы еще хуже японцев, производитель-

ность чуть не вдвое ниже. Слов нет, за японцами—опыт десятилетий, вколоченный старательной и бдительной бамбуковой палкой надсмотрщиков. Наш собственный опыт — младенческий: год-два. И тем не менее на некоторых краболовах советские рабочие уже успели доказать, на что они способны, когда есть воля, желание и упорство.

«4-й краболов», как и Тафуинский завод, считается комсомольским: молодежь—костяк краболова. Две путины подряд этот молодой коллектив прекрасно работал, перекрыв японские нормы, выполняя план, улучшая качество консервов, чего остальные краболовы пока не добились.

Комсомольцы с «4-го краболова» первыми, и даже без японской помощи, смекнули, что главное, кроме, конечно, внутренней спайки, дисциплины коллектива, заключается в овладении техникой поисков краба, в разведке крабовых полей. Ведь крабом не сплошь усеяно морское дно. Краба, в сущности, мало, очень мало в сравнении, скажем, с иваси. И потом косяки иваси часто бывают видны по верху: рябит она, играя в океане, а краб ползает, правда тоже косяками—семейством, на 20-30-саженной глубине. Пока что известно только одно: любит он песчаный, илисто-песчаный, галисто-песчаный грунт, особенно густо скопляясь на банках (так зовут подводные «горы»), облепленных моллюсками-ракушками — любимой пищей десятиногого прожоры. Вот и все. Точной географии дна советских прибрежий Тихого океана еще нет, капитаны водят суда по старым лоциям времени Лаперуза. Советским краболовам пришлось вслепую, наощупь бороздить море.

Изучать дно, составлять подводную географию первыми начали ребята с «4-го краболова»

Вот он выходит на работу в Приморье, против залива Америка. Кое-что о наличии краба в этих местах, конечно, известно. Сообщают об этом корейцы-колхозники «Сучана», «Трудрыбы», колхоза «9 января»—старожилы этой широты, ловившие краба понемногу. Краболов спускает двух разведчиков-кавасаки с самыми опытными ловцами. Сначала они производят т. н. локальную (ближнюю) разведку, чтоб краболову немедленно дать работу. Храп (измерительный прибор) определяет глубину, проволочная кошка устанавливает нет ли водорослей, опасных для сеток. Тогда, если эти показатели благоприятны, забрасываются сетки с захватом побольше дна. Сетки поднимаются на другой день. Ага, краб есть! Сетки ставились в направлении к юго-востоку, значит туда-же движутся и косяки. Краболов тогда спускает тут промысловые кавасаки, а разведчики начинают дальнюю разведку новых, необловленных мест, в два-три дня точно определяя, какой мощности косяки и в каком направлении они проходят, наблюдая за попаданием крабов в **промысловые** порядки сеток.

Идя по пятам разведчиков, промысловые кавасаки цеха добычи изо дня в день поднимают улов. Тогда начинается и работа завода.

Теперь уже так работают все краболовы, старательно нанося первую промысловую карту, облегчая год от года трудную охоту за крабом.

★

Тафуинские ловцы - корейцы лов краба ведут без карт, но не без наблюдений. Прекрасная рыбацкая память помогает им отлично запомнить без измерительных приборов каждую вновь найденную крабовую банку, поле и даже следить за миграцией, переселением, краба. Хангир, Андангун, Ли Ким-Сек и другие опыт-

ные шкипера и ловцы, таким образом установили наличие крабовых косяков в Уссурийском заливе, около Лудянцзы в заливе Восток, против мыса Поворотного в заливе Америка и осенние банки у острова Аскольда. Чем холоднее температура воды, тем краб скатывается все южнее.

Тафуинцы, как и комсомольцы с «4-го краболова», почти одновременно с нами освоившие технику разведки, на этой первооснове и добились первых побед, о которых говорил не только советский Дальний Восток, но и учителя—японцы.

Способные оказались ученики.

Норвежец Легье получал 800 рублей золотом, ставя консервное мастерство в Тафуине. К нему комсомольский коллектив приставил на учебу бывшего берегового рабочего, потом табельщика и бригадира Арташеса Калашьянца. Легье был мастер старый, добившийся мастерства суровой практикой на капиталистическом предприятии. Он, словно хранитель тайны философского камня, снисходительно отвечал на вопросы любопытного Арташеса недомолвками, иногда откровенничая:

— Э-э, молодой человек, я у вас будет работай один год. Сделать вас мастером хочет комсомол? Кто такой комсомол, если он хочет то, чего так невозможно? Я учился десить год, много книг, и много работай и много людей ушил меня, и вот я тогда мастер. О-о, я ничего не имеет, пошалуста, бутьте мастером, хэ-хэ-хэ...

Арташес добросовестно выполнял задания ячейки, изучая каждый производственный шаг Легье, вникая во все детали процесса консервирования, интересуясь математикой, механикой, биологией, химией. Старик мастер смотрел, смотрел и вдруг последние дни контракта посвятил проверке знаний ученика, а накануне от'езда сказал директору:

— О-о, этот молодой человек способный очень будет, вы не станет жалеть меня, как он заменит...

Легье уехал и Арташес вступил в должность мастера, став через полгода техническим директором комсомоленного завода.

Завод в 31 году, несмотря на множество неполадок, свойственных новому производству, сумел по производству крабовых консервов выполнить 114 проц. плана, получив премию за хорошее качество продукции. Окончив путинную страду, комсомольский мастер Арташес ездил смотреть пятилетку в Советский союз, в его обновленные старые и совсем новые индустриальные города.

★

В заводских цехах чисто и тепло. Работницы—в беленьких снеже-стиранных халатах, тщательно промыты лотки, тарелочки и конвейер, по которому идет мясо краба до закаточных машин.

Со столов девушек, занятых разделкой краба, белое мясо из его десяти ног грудками на лотках переходит к мойщицам. Мойщицы во главе с Федорой Константиновной Жеребчиковой, которую в этом насквозь молодом цехе выделяют лишь седые волосы, выбивающиеся из под платка, нежно полощут мясо в теплой морской воде и передают лотки дальше — на развеску порций и укладку их в банки.

Развеска требует точности и проворства. Тут сейчас работает комсомолка Маруся Рыкун, прославившаяся прошлым летом и осенью на укладке иваси. Завод, обычно, кончив крабовую путину, берется за выработку ивасевых консервов,—с июня идет иваси. Маруся укладывала вместо нормы в 60 ящиков—80-85, полностью соблюдая стандарт. Быстро и точно работала Маруся и на развеске краба.

Столы бригады укладчиц, как прилавок колбасной: внизу—низенькие банки с пергаментным стаканчиком,

наверху, в тарелочках, порции, которые на всю бригаду успевает провесить Маруся. Наполненные по стандарту уложенным мясом банки попадают на конвейер, конвейер ползет кругом мимо закаточных полуавтоматов, машина венчает банки крышками и банки стекаются в «горячий» цех — туда, где стоит вакуум-аппарат. В этом аппарате при температуре 200 град. Фаренгейта производится четырнадцатиминутная варка мяса в банках. Затем следует еще закатка на автоматах, окончательно, когда банка автоматически закрыта, и после этого—последний серьезный процесс: стерилизация в автоклаве — цилиндрической машине, похожей на паровозный котел, где банки консервов стоят 55 минут при 230 град. Фаренгейта. Наконец — бракераж. Протирка банок бензином. Бесцветная лакировка. Банку опоясывает этикет, и краб готов представиться любому столу в любой части света через месяц или через год, безразлично, с одинаковым вкусом и качеством.

*

Живу на промысле уже пятый день. Внешнее знакомство кончилось. Перестал удивляться всему, что было ново, необычайно в первые дни: и самому крабу, и его икре, и темпу работы у конвейера, и способам крабового лова. Стало больше знакомств, стал смотреть на промысел изнутри, из гущи людей промысла, стал своим, присутствию которого то там, то сям тоже перестали удивляться—глаза намозолил. И хорошо. Только с этой новой позиции я увидел то, что остается навсегда закрытым для туриста: увидел нечто более значительное, чем крабовая икра.

На промысле, по-моему, не все спокойно. Вот сейчас разгар крабового лова, кавасаки должны ежедневно выставлять и собирать сетки, а с топливом для моторов вдруг оказывается угрожающее положение: мало топлива. Перед сегодняшним выходом за се-

тками в конторе лова комсомольское бюро собрало мотористов и шкиперов. Мотористы—русские, шкиперы—корейцы.

Цой—секретарь комсомольского комитета — говорит по-русски и по-корейски. Вот он зачитывает сводку — кто и как расходует горючее. Сводка страшная. Словно никто из мотористов не знает, что такое норма.

— Да вы что: пьете бензин или выливаете за борт? —кричит Цой.—Школенок! Твоему мотору норма 17 килограмм, а ты стравил ему 141. Ты грабишь завод, государство. Ты грозишь закрыть наше общее дело, опозорить нас всех, мы сорвем план. Соломатин! А ты? Твоему мотору норма 15, а ты сжег 155 килограмм. Богданов! Легкодимов! Вы будете кричать, что малы нормы, что вас обсчитывают. Врать будете, ребята! Христофор Кочетулин кто? Моторист с 13 кавасаки. У него норма 10 кило бензина? Десять. А он, парень-ударник приспособился под керосин и сжег 36 кило. У него кроме того лебедка работает от мотора. Она в норму не входила. Единственный пример хороший — против всех вас. Довольно такого дела! У меня голова лбом назад повернулась, когда я получил эту сводку. У нас никакого горючего при ваших аппетитах и на 5 дней не хватит...

Цой кричал, мотористы сопели, делали виноватый вид, и кажется только шкиперы были напуганы до глубины ловецкой души. Путине угроза—угроза для них самих. Лов, как раз, увеличился, разжигая ловецкий азарт. Тогда один шкипер, Хан Ен-до, вдруг вспоминает, что моторист на его кавасаки как-то нынче, после постановки сеток взял курс не на Тафуин, а на другой берег—к Душкино селу. Он пристал к берегу, швырнул из трюма ведерную банку с горючим и ушел в село, сказав: «Пождите малость, я на минуту к своим—мать с отцом мои тут живут». Вернулся, банку положил на

место. Корейская команда пропустила это случайное путешествие в Душкино без особого значения. И все. Но вот Цой что говорит. Ах ты, Хан Ен-до! Да что, если?..

И шкипер осторожно берет слово. Он говорит по корейски. Мотористы насторожились, они кое-что начинают понимать, потому что непроницаемое лицо Цоя вдруг перекосилось и шкиперы-корейцы угрожающе привстали.

— Товарищ Хан Ен-до,—начинает Цой по-русски,— сообщил неприятную штуку — его моторист Семенов продавал казенный керосин и бензин в Душкино. Что это? А-а? Что это? Все понятно? Или непонятно?

Галдеж обуревает мотористов. И из их фальшивого возбуждения становится понятно все остальное. Да, конечно, среди мотористов оказались сукины сыны, кулацкие дети. Это у них больше всего моторы «пожирают» горючего и дают перебои, когда надо команде поднимать сетки.

Собрание приняло столь неожиданный оборот, что Цой скомкал и бросил под стол очень старательно приготовленную резолюцию с выговором двум мотористам - комсомольцам и с обычным призывом «экономить горючее».

— Хан Ен-до,—говорит он зло, ни на кого не глядя, — Хан Ен-до, тебе спасибо, что ты сказал. Это дело разберет ГПУ. У нас, я думаю будет хватать топлива для моторов. Собрание закрыто.

Завтра с утра я собираюсь в море на комсомольском кавасаки, за крабом. Ложусь спать пораньше. Но сон сбит. Приходят Цой и Косачев. Разговор—вокруг сегодняшнего выступления Хан Ен-до, взволновавшего весь коллектив.

— Буду завтра писать, чтобы приехали люди из города, — говорит усталый Цой,—и Коваленко из Вла-

димиро-Александровска. Надо, мне думается, чистить. Я давно нащупывал что-то неладное: тут сорвется, там не ладится, а ладиться следовало бы непременно. Я злюсь на себя, на всех нас вместе. А-а, чорт! Если бы не Хан Ен-до, так бы и осталось. Ну резолюцию бы приняли, обязались бы горючее экономить. А тут, понимаешь, можно обобщать: враг действует—ушки на макушку. Семенов и Дамасков — душкинские кулаки, и как я этого не мог узнать раньше? Ведь так подозрительно часто гробили они моторы. Надо щупать людей до пяток. У нас ведь, ты знаешь, и «американцев» не мало...

— Меня волнует лов,—говорил Косачев, — лов у нас в чужих руках. Смолик. Ты его знаешь, Смолика? Кто он? Он—бывший частник, промышленник. За ним считаются шовинистические выходки — грубиянит с ловцами-корейцами. Он сейчас подал о приеме в партию. Чего ему надо в партии?

— Ну, положим, это-то понятно. Чего ему надо? Партбилета надо. Удобней. А что ты замечал?

— Ничего пока, кроме того, что сказал. Но чорт его душу видел...

— Слушай, Косачев! У нас—комсомольская крупная семья, костяк, актив. Ведь ребята неплохо работают. Правда? Многие отлично выполняют план. Мы даем хорошие консервы. Калашьянц — это мастер, ты мастер, мастера ребята, но одного нам не хватает...

— Чего не хватает?

— Нюха, чутья. Нынче нам, брат, мало быть только хорошими мастерами,—надо глубоко видеть вокруг, анализировать события, людей, приглядываться — враг шевелится, трудный враг. Видишь, как тяжело его открыть? Надо всем глядеть острей. За Смоликом, конечно, особенно — ему такое дело доверено, что весь район посадить может...

*

Часа два спал. Пришел до рассвета Хангир и разбудил.

— Ты что ж, будеш ехать! Вставай, в море идем.

— Момент. Конечно, буду ехать...

— Ладно. Ходи на пристань скорей..

В окна пробивался сизый рассвет. Косачев еще спит, уткнувшись в подушку лицом, — тяжелый сон. Я вышел. Туманы ворочались в бухте, как медведи. Ветер нес туманы на завод, на поселок и дальше, за перевал. Внизу, на пристани стрекотали моторы кавасаки. Рассветный утренний час.

Мотористов, которых удалось вчера разоблачить, сегодня сменили ребята комсомольцы с силовой станции и цехов. Срыва выхода не было ни одного. Наоборот. Хангир говорит, что так дружно еще ни разу не собирались в море. Выход всегда растягивался часов до 8 утра, а к этому времени кой-кому пора уже было привезти улов для завода.

Ли Ким-сек снял причал и в обнимку с туманом мы пошли искать сети, поставленные около Людянцзы. Обогнув мыс, кавасаки повернул к югу. Туман, выпуская нас из об'ятий, приподнимался все выше. Вдруг из-за свинцового края горизонта вылезло солнце — холодное красноватое солнце. Хангир улыбнулся.

— Быстро солнце поднимается. Хороший будет день, сетки найдем...

Найти сетки по маленьким стеклянным наплавам, как бусам разбросанным по волнующемуся морю,— трудное дело. Многие часто теряют свои сетки, а иногда находят свои новые и утерянные старые. Никаких приборов, которыми бы можно было точно определить место постановки сетей, ни на одном кавасаки нет. Ставят, вглядываясь в рельеф берега, в заметные на берегу предметы, на глазок измеряя пространство между берегом

и кавасаки. У Хангира в этом смысле замечательная зрительная память: он быстрей всех находит сетки, всегда первым возвращаясь на промысел.

Вот блеснули «бусы» — один, другой, третий. Сетки найдены. Кавасаки обходит всю «нитку», весь порядок до скрещенных тонких досок, болтающихся на воде, — здесь начало порядка. Стоп!.

Начинается под'ем пятидесяти маленьких сеток, разбросанных в четырех местах, скрепленных меж собой подборкой.

Вот первая сетка. Пусто. Вторая—пусто. Третья. Ага, какой большущий краб барахтается в ней! Он ворочает клешнями ног, то забирая их под панцырь, то распластывая во всю ширь. К его панцырю присосались десятки моллюсков, мелкие рачки, Хангир говорит:

— Крупный первый краб — это хорошая примета. Это, наверное, их начальник, такой старый,—смеется шкипер.

Хорошая примета... Уже в следующих сетках было по десятку крабов, и крупных и очень маленьких. Крабы ворочались в трюме непонятной многоногой кучей, запутываясь в сетках, нанизывая на когти все новые и новые нитяные ячеи.

Несколько сеток опять проскальзывали пустыми, но потом начинался новый крабовый ход — еще больший: в каждой сетке было по 15-20 крабов.

— Это—хорошие банки, — говорит Хангир: — я второй год ставлю здесь сетки и всегда что-то есть много. Тут любит ползать краб, но этого места не любят шкиперы, — в шторм, случись он, тут кипит очень вода. Я думаю, что тут где-то на дне кроме крабовых полей есть еще и острые горы...

Ловцы устали. Сетки шли к концу. Трюм уже кишел крабами. Да, сегодня богатый улов.

— Тут уже есть 724, — надрывно кричит Пак Керен (он, вытягивая сетки, считает про себя каждого краба) да, еще девять сеток. Э-э, Хангир, мы можем и сегодня обрадовать Арташеса,—вон какие мясистые крабы!..

—Это его счастливый такой выезд,—смеется Хангир, кивая на меня. Смеются все. Хангир говорит, что старые шкипера обычно, идя на лов, не берут незнакомых. Кто знает, какой глаз у этого человека. Но он не верит этому. Он—молодой шкипер, и команда вся молодая и к тому-же мои глаза за очками—такой глаз не вредный.

— 946!—воскликнул Пак. — Последняя сетка. На 67 меньше чем вчера, но крупных, ребята, сегодня больше. Хороший улов, очень хороший,—уверяет он, глядя на притихшую груду крабов в мешке сеток.

Калашьянц встретил на берегу. Было без пяти восемь. Комсомольский кавасаки опять пришел первым

Трюм уже кишел крупным и мелким крабом

с радостной добычей. Добро. Но почему кавасаки всегда встречает Арташес? Где завловом Смолик? Арташес поднимает брови:

— Кажется спит, а если встал, то в конторе...

★

С промысла я уехал на другой день. Надо было спешить в Находку, где собиралось районное техническое совещание ловцов, да кстати был попутный пароход — ночью должна была в Гайдамак зайти «Вьюга» — неудобно брать в горячие дни лова промысловый кавасаки. Ночь сгустилась. Я ходил по промыслу настороже, чтобы услышать, как проревет гудок на «Вьюге».

В этот вечер комсомольцы Тафуина в клубе немного веселились. Клуб был тесноват и слабо освещен. Сидели не раздеваясь—в пальто и галошах. Так слушали доклад Цоя, так смотрели пьесу и дивертисмент, так наконец, танцовали, кружась в равнодушном вальсе. Молодые директора были тут-же, довольные минувшим ловецким и заводским днем и тревожные от всего, что творилось вокруг и так «незаметно». Мне они сообщают, что в столовой и кооперативе поймали воров — один столовой заведывал, другой был членом правления ЗРК. И вдруг оказалось, что оба—раскулаченные «американцы». Как они затесались? Что-то никто не мог припомнить этого. Пришли, поступили, работали. Худо работали: в столовой подавался тухлый суп, гнилое мясо, в ЗРК не хватало товара, присылавшегося для ловцов. Все это относили за счет трудностей. Так и говорили: трудности в стране, ради ее интересов можно покрепиться без излишеств. Но вкусный и сытный суп или штаны это разве излишество? А теперь стало ясно, кто прятался под этими «святыми» разговорами о «трудностях», под вздохами сочувствия строительству.

Коллектив насторожился, Впервые так насторожился молодой коллектив, которому не давалось еще видеть врага с глазу на глаз в открытой схватке.

— Революционеру раньше, партизану и красногвардейцу легче было — вздыхает Арташес, — ему сразу видно, кто враг, разве только шпион маскировался. А теперь весь враг как шпион. Ну, брат, дела. Прощай. Увидишь там Коваленко в Находке, расскажи, что у нас и как, все-таки что-то у нас закручивается. Мы его ждали, да он что-то не приехал...

В полночь я садился на пароход. В барку грузились ящики крабов. «Вьюга» пойдет в Находку, а баржу катер отбуксирует во Владивосток, откуда тафуинский краб поедет в Москву и в Америку.

★

С той поры я успел побывать в Тернейском районе, на рыбалках северян-колхозников, в колхозе удэ-

Консервы грузятся на пароход. Они пойдут в Америку

хейцев, скитаясь по местам, глухим к тому, что творится там, где ходят поезда, авто, летают аэропланы, где вырастают новые стены новых больших городов. Месяц я не видел газет. Изредка, там, где случалось радио, мы узнавали, чем живет мир и наша страна-громадина.

А вот чем живет Тафуин?

Я уже сидел в номере владивостокской гостиницы за работой, когда пришел Ястребцов, мой газетный товарищ-комсомолец, работавший в молодежной газете края. Спрашиваю:

— Откуда?

— С Тафуина...

— И долго был?

— Долго, вскоре после тебя приехал и еще там буду...

Оказывается, парень там редактировал выездную газетку, которая теперь уже не редкость и в более глухих местах края. Тафуин жил, оказывается, классовой борьбой, и тут его комсомольскому коллективу сильно помогло оружие, которое привез туда Ястребцов. То, о чем говорили шопотом и между собой, газета крикнула громко, на весь район. Она помогла ребятам очиститься от врагов, научила их в практике борьбы бдительности, уменью распознавать врага.

Так был разоблачен и Смолик, хитрая лиса, заискивавший перед партийцами в поисках рекомендации в партию и помаленьку, тихо-тихо, срывавший все, что должно было поднять лов. Была уже ивасевая путина. В крае на путине появились новости—было впервые доказано, что иваси ловится и днем. Шла на промыслах борьба за два выхода на лов—в ночь и в день, а Смолик авторитетом знатока рыбных нравов убеждал, что все это врут, что рыба днем видит сетки и, не дура, не полезет, что ему очень жалко бензина, сеток и людей. В разгар путины вдруг началась перебро-

ска людей с одного кавасаки на другой, портились сетки от того, что Смолик к чорту послал высокие вешала, на которых сетки быстро сохнут. Так тихо, «жалея бензин, сетки и людей», работал Смолик.

Хитрое лицо «американца» проглядывает в этих проделках. Сама американка, кулацкое гнездо, разваливается под натиском нового времени, но гаденыши из этого гнезда расползлись по Приморью и, конечно, не для добра расцветающему краю.

— И все-таки работаем лучше,—прощается Ястребцов.—Коллектив, брат,—коллектив. Растет он и зреет. Нынче его многому научила жизнь. Ну пока, счастливо оставаться!..

5

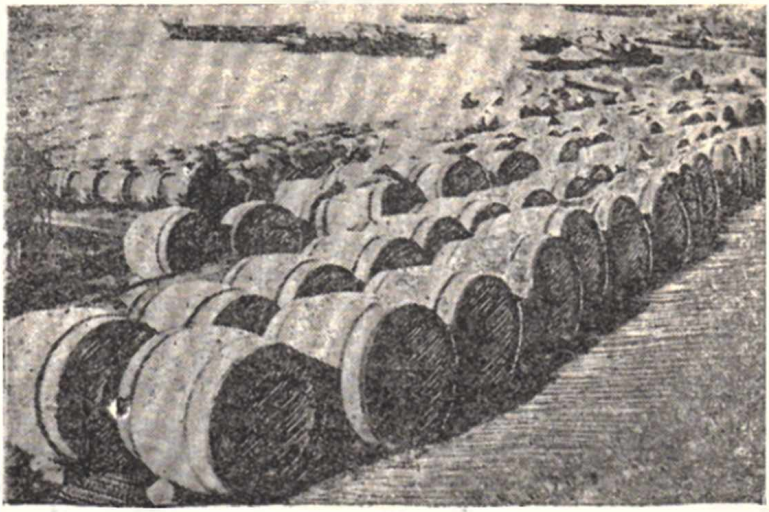
Поиски Тернея

С Приморской линии телеграфа каждые пять дней на стол белокурой женщины, ведущей всекраевой подсчет трофеев путины, приносили пару коротких телеграмм. Одну—из бухты Ольги, другую—из Тернея. Я приходил сюда как репортер, копался в телеграммах, расшифровывал цифры, проценты, подсчитывал прирост и упадок каждой пятидневки, но две телеграммы с Приморской линии вот уже четвертую пятидневку занимали в моих чувствах особое место. Я волновался. Ольгинские телеграммы мало чем отличались одна от другой, цифра в них почти не менялась, и белокурая женщина вписывала против графы «Ольгинский район» неизменный скелетообразный процент—11. Но зато те-

рнейские телеграммы волновали пятизначными цифрами нарастания темпа, и процент был там близок к желанной цифре—«100».

Ольга и Терней. Районы по результатам работы на путинной страде далекие, как полюс от тропиков, а между тем, я знаю, что это соседние меж собой районы Северного Приморья, причем Терней—совсем молодой район, такой молодой, что он еще не успел попасть ни в один справочник, ни в одну книжку.

Побуждаемый естественным для журналиста любопытством, я стал расспрашивать десятки людей из рыбных центров, пытаясь хоть что-нибудь узнать о Тернее больше, чем сообщал он о себе. Это были дни, в которые Владивосток путиной жил, по крайней



Грузовики перебросят бочки кваси на станцию, к вагонам, чтобы везти в глубь страны, в рабочие центры

мере, 14 часов в сутки. Порт провонял запахом соленой иваси и горбуши, рыба выгружается в бочках, ящиках и «барой»-россыпью. На ж.-д. станции идет бой за порожние вагоны, за то, чтобы ежедневно грузить и отправить в центр страны рыбный маршрут. Едут люди на рыбу и с рыбы. Каждое третье заседание посвящено рыбе. Рыба, свежая и соленая,—в пирогах и в котлетах, на сковороде и в ухе, в консервной банке на магазинной полке и в меню ресторанов и столовых.

В рыбных трестах я нахожу много людей, знающих дело и места, где это «дело» делается. В эти дни в коридорах трестов кроме того толкаются десятки свежих людей из самых этих мест—с промыслов и колхозов, где идет борьба за рыбу. Но, увы, тернейцев тут нет. А из людей знающих никто о Тернее не знает больше меня. Много говорят о Посьетском районе, о Шкотовском, Сучанском, очень много о Камчатке, даже анекдотом могут удивить, подлинно камчатским, из собственных переживаний, но о Тернее — никто ни звука.

Тогда я прибегаю к всемогущей и всезнающей литературе. Роюсь в магазинах. Но тут нет ничего не только о Тернее,—про советский наш Дальний Восток продавщицы, опытные, старые, и тоже знающие, вообще затрудняются что-нибудь припомнить и, лишь после большого напряжения памяти, советуют прочесть сборник «Сихотэ-Алинь», состоящий из стихов владивостокских туристских поэтов, стихов, от которых уже отмежевалось большинство авторов, и книги В. К. Арсеньева. Что касается Арсеньева, то обидно, что у продавщиц он застрял рядом с туристскими виршами. И еще обидней, что вирши в продаже есть, а арсеньевских книг в продаже уже не найдешь, и в библиотеке не поймаешь. С большим трудом я, наконец, поймал одну книгу. Это была «Дерсу Узала». Ее носил в портфеле,

словно какое постоянное нужное пособие, один из видных работников-хозяйственников, и мне он позволил книгу почитать только пока идет совещание, на котором мы оба сидели. Совещание к счастью затянулось. Книгу я прочел. Так вот и познакомился с Тернеем.

Арсеньевым Терней описан. Описание совсем маленькое. Куда короче, чем описание какого-нибудь охотничьего эпизода, но, тем не менее, я узнал, что Терней стоит на большой горной реке; что над ним высится гора Доброй охоты; что четверть века назад там уже были оседлые люди—несколько фанз китайцев, изб русских староверов; что «путину» проводили лишь удэхейцы-кочевники, да и то в очень ограниченных размерах —лишь-бы наготовить юколы на зиму, да что кругом горят леса. Грустные берега и долины. Это и есть Терней.

Когда я пришел домой, чуть-чуть удовлетворенный, то получил редакторский приказ отправиться в Терней. Приказ был несомненно продиктован чувством, очень похожим на то самое чувство, которое дотолкало меня до первого знакомства с Тернеем по Арсеньеву.

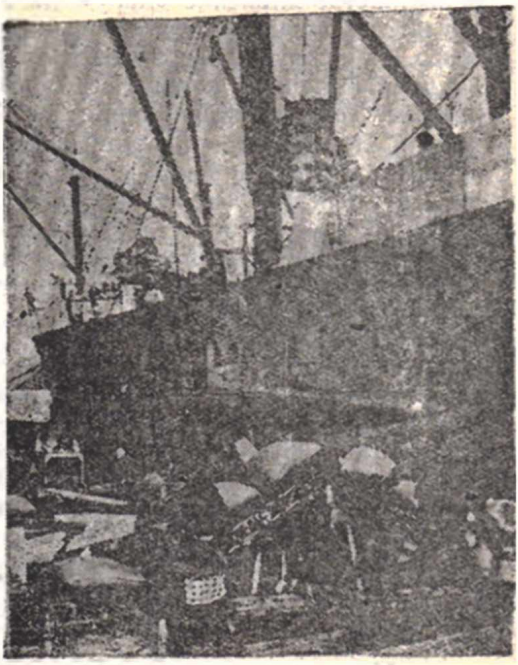
И я поехал. Поехал триста миль к северу до Тернея плюс двести еще дальше от Тернея, проехал верхом и прошел, ведя коня в поводу, путями, которыми когда-то прошли Арсеньев и его спутники, и могу теперь донести, что я нашел неузнаваемый Терней, ничуть не похожий на старое и единственное описание, не умирающий, а цветущий кусок неузнаваемого нашего края.

Что же такое Терней теперь?

Это—открытая с юга бухта, это—широкая сплавная и немного судоходная река, это—два больших села—старое и новое, ставшие нынче весной центром нового приморского района, о котором, как я убедился, в крае еще и сейчас знают не больше, чем четверть века

назад, когда до теперешней северной части района—бухты Нахтаху—ездил Арсеньев.

Советские годы преобразили Терней. Если тогда на его трехсотмильной площади по берегу моря и в долинах хребта Сихотэ-Алинь были лишь одинокие фанзы макосеев-китайцев, удэхейцев, да совсем редкие избы русских староверов, первых переселенцев, то теперь, через четверть века и одно советское десятилетие, в этом районе стало 20.000 жителей, около сотни населенных пунктов, десятки колхозов, район заготовляет четверть миллиона кубометров леса, в большинстве на экспорт, вылавливает 140.000 центнеров рыбы, колхозники впервые в таких северных долинах, как Кемы, Шомы и Кхуцина, стали сеять тысячи га



У стенок порта стоят огромные суда заокеанского плавания. Лебедки освобождают их от груза, вываливая его на механический конвейер

пшеницы, овса, овощей, собирая богатые урожаи, и даже создан колхоз из 30 семей вымиравшего народа удэхе в районе реки Самарги. Вот каким стал Терней!..

★

Во Владивостокском порту стояла обычная навигационная горячка. Конец сентября. Иностранцы, в большинстве японские «мару» да норвежские «викен», грузятся экспортным лесом, рыбой, людьми на далекий север. Пришли первые пароходы, груженные рыбопродукцией нынешней путины с Камчатки и Сахалина. Пароходы Тетюхинской линии выгружают свинцовые чушки. После года полярной зимовки возвратилась и скромно стоит на рейде с ободранными боками «Колыма». Степенно готовится к отходу «Амакуса-мару»— еженедельный экспресс Владивосток—Цуруга. Снуют на юлах маленькие шампуньки китайцев-перевозчиков через бухту из города на Чуркин мыс.

У морского вокзала сегодня отчаянная сутолока и перебранка очень делового характера.

— Ты меня опять без ножа режешь, Шляпников, не могу я брать столько пассажиров,—возбужденно кричит Кушнаренко—пожилой и грузный капитан «Теодора Нетте», парохода, идущего на Сахалин,—500 мест, а везти опять полторы тысячи людей и полный груз. Да вы что, смеетесь?.. Вы отвечаете за пароход или я? Дудки-с. Хватит с меня прошлого рейса.

Шляпников, помощник морагента порта, разводит руками и брызжет слюной:

— Иначе невозможно... Тесно, но ведь надо везти. Нельзя заставить людей ждать следующего парохода. Ведь не каторжники. Ты смотри: сто пятьдесят ленинградцев едут работать на стройки, триста завербованных — на лес, двести—на уголь, сто двадцать—на нефть...

— Не могу, не могу, делайте что хотите,—отмахивается капитан, убегая по трапу наверх...

— Кушнаренко! Нельзя же так! Подумай—люди то какие...

А я стою как раз в густой массе этих самых людей. Их сундуки наготове. Они только ждут сигнала, чтобы атаковать трапы. Безудержный гул разговоров, смех, шутки ругань... Да, думаю я, историческая поправка: нехватает этаких огромных пароходищ, чтобы перебросить на Сахалин всех, с готовностью едущих добывать из его недр уголь, нефть, ловить рыбу, рубить лес, строить города и колхозы...

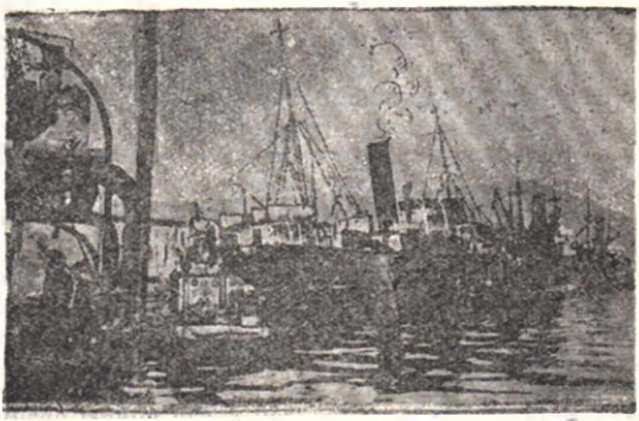
На Сахалин, может быть помните, во времена поездок Чехова и Дорошевича ходили только кандальные транспорты. Каторжников с черными бубновыми тузами на серых бушлатах сгоняли жандармы в вонючие трюмы, и голодных, несчастных людей две недели болтало в вечно бурлящем Татарском проливе.

Пассажирский пароход тогда на Дальнем Востоке был всего один, но до Сахалина ему ходить было нечего—кто туда поедет? Охотников нет! Этот пароход «Эльдорадо» ходил лишь тогда, как наберется полный комплект пассажиров, и всего до бухты Джигит, от которой начинается южная часть нынешнего Терней-ского района. Дальше за Джигитом была девственная пустота.

Одна навигация, например, была обеспечена полной нагрузкой путем провокации, стоившей многих жизней. Капитан Владивостокского порта Эгерман пустил за хорошую взятку от хозяев «Эльдорадо» слух о том, что в бухте Джигит открыты золотые и алмазные россыпи. Владивосток тогда кишел авантюристами, падкими на любую добычу, и, конечно, пароход «Эльдорадо» дней не потерял. Его кают и палубы не хватало—авантюристы пробирались до Джигита за двести

с лишним миль пешком, на лодках, верхами. Большинство этой массы авантюристов, одичавшей от бреда золотом и алмазами, погибло: одних уничтожил зверь, других голод, третьи перерезали друг друга, подозревая в тайной находке и укрывательстве богатства.

Сейчас десятки тысячетонных пассажирских и грузовых пароходов обслуживают Камчатку, Сахалин, Приморье. Заселение далеких окраин и использование их богатств растет так интенсивно, что нам нехватает собственного не очень уж маленького торгового флота—приходится еще фрахтовать суда японские, норвежские, немецкие, особенно в горячую пору осени, вывозить с северных промыслов рыбу и брать на побережьи лес на японский и китайский рынок. На Сахалин же ходят регулярно четыре наших советских парохода: «Теодор Нетте», «Кречет», «Сахалин», «Астрахань».



В порту близится утро. Туманы бродят по бухте, между судов проползая в город

★

Капитану Кушнаренко пришлось согласиться взять все полторы тысячи пассажиров, включая и меня. Началась хлопотливая посадка. Попадавшие на борт проворно занимали каюты, трюмы и места на палубе, под крышей на штабелях бочечной тары, погруженной в адрес какого то промысла. Когда посадка кончилась по палубе трудно было пройти, трюмы были забиты, каюты переполнены. Конечно, сочувствую я Кушнаренко, рейс будет не из приятных. Пароход должен сделать до Сахалина пятнадцать заходов в приморские бухты, сгружая продуктовые грузы, соль, тару. Значит путь до Сахалина, это около 1500 миль, займет не меньше 10 дней. Десять дней большинство этих людей должны провести в чертовски неудобной обстановке морского путешествия. Да к тому же путешествия по морю, которое уже начинает бурлить первыми осенними штормами. Конечно рейс будет не из приятных. Но эти люди готовы на все.

— У меня в артели сорок человек,—говорит мне, расчесывая пятерней бороду, Семен Иванович Щукин, артельный староста плотников, едущих на Сахалин из города Горького,—шатущих людей, слава богу, нету. Работали мы на автомобильном—строили там, что от плотников требовалось. Ну, скажу вам, да вы поди-кось и читали, в газетах-то много писали, большущий завод отмахали. Кончили плотничную свою часть—вербовщик подвернулся с Сахалиннефти, говорит — так и так, и очень нам людей надо. Сначала мы испугались—куда, говорим, к черту в турки—с ума сойти на Сахалин ехать. Ну, известно, понаслышались мы про это пекло не мало с самого детства. Нет, мол, уволь, страшно. А потом как-то встретились люди—нонеча уж на Сахалине бывали,—да вы чего, говорят, мужики, струсили?! Живут нынче люди и на Сахалине свобод-

но. Остров не такой-то страшный. Так. Стали тогда промеж себя обсуждать: что же, дескать, мы вот не едем, другие не поедут, японцы будут за нас строить что ли? Они бы и рады, да погоди-кось. Не испробовать ли на годок, а-а, ребята? Вижу—задумываются, а потом и говорят: «В самом то деле, чего не съездить. Что у нас семеро по лавкам, что ли? А народ, конешно, больше все холостой. Ну вот и едем,—поглядим, поработаем; если как рассказывают, так может и семьи потащим. Как устроились? Да вот, видишь, на бочках. Не баско. Удобности мало, да ребята наши крепкие, вот только перед морем поджилки, говорят, холодеют, первый раз в такое море идем...

★

В шесть уйти в море нам не удалось—погрузка затянулась. Только в девять, когда сопки вокруг города окутала прозрачная приморская ночь, какая бывает только в Приморьи и только в золотую осень, огни улиц, мачт и причалов опрокинулись в темное зеркало бухты, превратив ее в золотой рог; наш па-

Лебедка взвизгнула, и лошадь с повязанными глазами повисла над морем. Лошадей грузили на Сахалин

роход вздрогнул и без свистка, тихо сняв причал, отошел. Медленно вышли мы из Босфора, как зовут горло бухты, прошли чуть дрожа мимо огней бухты Диомид —базы двух десятков дальневосточных тральщиков.

Было близко к полуночи. Но берега и море на десятки миль вокруг Владивостока живут в эту пору, горячую пору ивасевой путины, круглые сутки. Тут повсюду, почти через каждые три-четыре мили, государственные рыбные промыслы и колхозные рыбалки. Множество огней на берегу и в море.

Русский остров, закрывающий собой Владивосток с моря, и высокий маяк на вершине причудливого островка Скреплева, где принимаются иностранные суда, пароход миновал. Владивосток, наконец, скрылся. Мы тихо шли в открытое море. Взошла полная луна, золотым сиянием озарив тихие воды океана и берега. Прямо перед нами на горизонте стала видна темная шапка острова Аскольд, который китайцы зовут Зеленым островом. Он славится хорошими ивасевыми рыбалками и подводными золотыми россыпями в подковообразной бухте Наездник.

За ночь, до рассвета мы оставили позади остров Путятинский. Ночью же прошли заливы Восток и Америка до мыса Поворотного, где кончается огромный залив Петра Великого и дальше идут открытые воды Японского моря, начинается северное Приморье.

Пароход идет от берега совсем близко — милях в шести-семи. То и дело встречаем играющие стада касаток, акул. За Поворотным недалеко от борта парохода грузно прошел кашалот, который здесь, и дальше к северу, в это время попадается часто.

Ночью пароходу итти так близко от берега небезопасно — можно на винт намотать ивасевые сетки, которые трудно заметить по небольшим боченкам-наплавам, прикрепленным в порядку сеток. Сигнальные фонари, зажженные в начале порядка сетей, еще не ука-

зывают, в каком направлении стоят сетки, охватывающие расстояние иногда больше ста метров. А сеток в море много до самого Тернея, где уже сильно редеет число рыбных промыслов, имеющих суда для так называемого активного лова с выездом в глубь моря в поисках косяков-скопищ иваси. Дальше к северу лов пассивный — неводами, в которые попадают лишь косяки, близко идущие от берега.

До Джигита море живет днем и ночью. «Теодор Нетте» то и дело встречает десятки судов — больших и малых. Против залива Америка и Тетюхе стоят краболовы, вернувшиеся с крабовой путины у берегов Камчатки. Идут теплоходы северных рейсов Сейнера, шхуны рыбного треста, колхозов. Белеют чаще всего паруса шаланд и кунгасов, возвращающихся с лова в открытом море, тарахтят моторами челноки-кавасаки.

Берега Приморья неописуемо живописны. Начиная от залива Америка и к северу на сотни миль до самой бухты Светлой идет берегом горный хребет Сихотэ-Алинь, сказочный красотой и богатством. В своих недрах он таит мощные пласты коксующегося угля, железных руд, цветных металлов, драгоценностей. Мы оставляем одну за другой чудесные бухты-гавани, приготовленные для спокойной работы судов самой природой. Из всех приморских природных гаваней особенно хороши — и красивы и удобны — бухта Золотой рог и бухта Ольги. Они отгорожены от моря прекрасной естественной защитой. Находясь от моря в миле-двух, ни во Владивостоке, ни в Ольге открытого моря не видишь.

И все-таки скучно ехать на пароходе, который до Сахалина идет долго и на остановках стоит так далеко от берега, что туда не сойдешь.

Тем более, что я на пароходе без места. Любезный Кушнаренко согласился, чтоб я провел три-четыре ночи до Тернея на диванах в кают-кампании. Восемнадцать

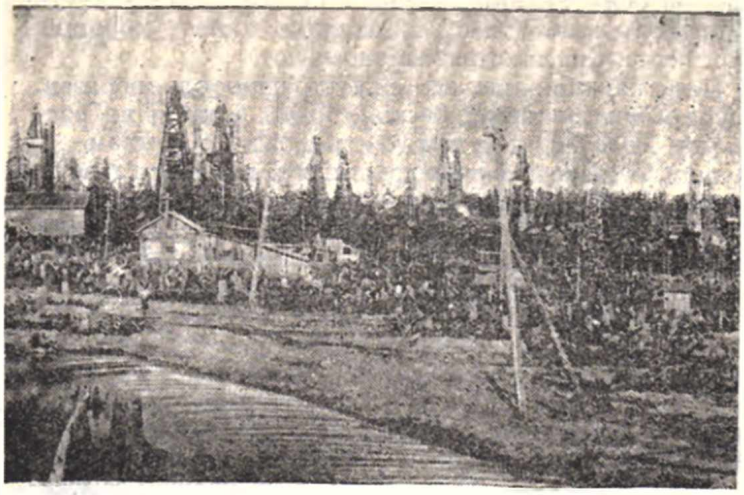
часов, от шести утра до полуночи, я вынужденно был среди людей. В кают-кампании, как это всегда бывает, стайками собирались горячие преферансисты, вдумчивые шахматные парочки и одинокие любители изящной словесности со старыми книжками в потертых переплетах.

— Новых книг не достать, — сокрушенно улыбается мне сахалинский финработник, читающий Ибсена.— Я не был в России девять лет и поразился, до чего дефицитным товаром стала культура — в Москве я лишь через посредников попадал в театры и кино, а книги покупал через третьи руки и платил втридорога. Я вычитал в «Вечерней Москве», что немцы-книгопродавцы за год продают по 1-2 томика Гете, а я в России не мог ничего поймать о Гете. За томик Пушкина дерут бешеную сумму. А книги новых писателей выдают чуть не по карточкам. У нас на Сахалине достать хорошие книги легче. Спасибо, нас не забывают.

День на пароходе все еще страшно однообразен. Палуба и трюмы живут бесконечными взаимными рассказами соседей соседям о родине, о былом и будущем, о всевозможных грустных и веселых случаях из жизни, и беседами на разные политические темы. Как среди всякой массы людей, и тут оказываются свои философы — горячие спорщики, и свои петрушки — веселые ребята. В трюме таким веселым типом был крепкий, низкорослый старик лет 70, которого все зовут «Пионер». Шея его повязана красным шарфом. Он общителен, остер, весел; тут расскажет анекдот, там подшутит над кем-нибудь, пропоет частушку, позабавит прибауткой, кстати украсит разговор зубастой народной пословицей. «Пионер», вместе с одноколхозниками, рыбаками с Азова, едет на сахалинские рыбалки. Все уже знают, что «Пионер» на Сахалин едет третий раз, причем первый рейс туда он совершил в сером бушлате и с бритой головой на транспорте «Доброволец» в 1887 году—

совсем молодым парнем. Он был приговорен к пожизненной каторге за покушение на убийство судебного пристава в селе Гадском Азовской губернии. Старик «Пионер», узнав, что я — «очкастый» — имею отношение к пишущим,—стал мне, а попутно и всем окружающим рассказывать, как на Сахалин приезжал в 90-х годах писатель Антон Чехов, что он всех каторжников описывал и описал, мол, даже его, Никиту Луковея. Старик божился, что это именно ему принадлежат записанные Чеховым слова: «И все они пишут, и все они пишут, и все они пишут, царица небесная», будтобы сказанные, им в доме Лукерьи Непомнящей, когда Чехов ходил в сопровождении надзирателя и переписывал всех поселенцев и каторжан.

— Ха-ха-ха... — гогочет трюм, — ловко ты ему это



Охинский нефтяной городок вырос на Сахалине в советские годы

сказал про царицу небесную. А сейчас-то ты, товарищ «Пионер», что будешь робить?

— Будем рыбу ловить да вас ухой кормить. Езжай в колхоз, спроси Луковея — обкормит ухой, потрохов не жалея, — шпарил без запинки «Пионер».

Старик Никита ездил на Сахалин вторично уже в советские годы. И однажды, под вечер, когда пароход медленно шел мимо островка Китово ребро, мне удалось на короткий миг настроить «Пионера» на серьезный лад. Мы сидели на борту маленького катера, стоявшего поперек палубы. Катер был охвачен тросами лебедки, готовой немедленно спустить катеришку за борт — он обычно буксировал груженные кунгасы от парохода к берегу. Здесь было единственно свободное место, кругом вся палуба была занята людьми.

— Послушайте, товарищ Луковей, — сказал я «Пионеру», — вот вы были уже на Сахалине в нонешние годы и сейчас сговорили поехать туда своих одноколхозников. Что же на острове то есть какие перемены к лучшему?

Старик взглянул на меня, как на выходца с того света.

— А то-бы я и поехал? Да ни в жизнь. Ведь раньше, кабы не вода кругом, да не стража — никого и никогда бы там не удержал. Страшно было (плечи его передернуло, я это отнес на счет холодка от наступившего вечера). Кругом вода, а посредине беда. Н-да... А места-то довольно ядренные, скажу я вам. Я отбывал двадцать-то годов каторги в Дербинском на Тыме-реке. Можно там и хлебопашеством заниматься, пшеница уродится там славная, но рыбы-кеты в Тыме, это, прямо сказать, золотые прииски. Каторга одначе. Каторга-то даже этим самым словом давила-душила, подневольность тяжка. Известно вам, вы человек грамотный, что вольной птичке и золотая клетка все едино тюрьма. Ну, а в позапрошлом годе я приехал туда-же и ахнул.

Ой, позвольте сказать, как места-то расцвели удачно! Село-то большое, крупнохозяйственное, и колхоз там. Словно вам Азовщина! Воля кругом, люди все другие, вольные. Я там заработал денег множество — две тысячи, избу мне дали и обзаведение, семью выписал — сама семья приехала, а нонеча вот от колхозного правления за другими нашими рыбаками на Азов ездил. Больше двадцати навербовал из колхоза нашего села— добром едут.

Когда после ужина в кают-кампании я рассказал про Никиту Луковея пассажирам «первого класса», всех очень заинтересовала личность старого каторжника. Многие лазали в трюм и глядели, то молча, то вступая в разговор, на неунывавшего, всегда бодрого, веселого старика, которого весь трюм добродушно звал «Пионером».

Надо сказать, что когда в Джигите понадобилась помощь пассажиров на выгрузке, Никита Луковей первым организовал из своих колхозников боевую бригаду.

На верхней палубе всеобщим любимцем был настоящий-таки пионер, маленький косоглазый Вася — сынишка рабочего с рыбного промысла в Де-Кастри. Не по годам развитый парнишка многих ошарашивал рассудительным своим разговором, подчас ставя палубное население в тупик.

— Ну, и детки растут, — улыбаясь вздыхала какая-нибудь старуха, — откуда што берется — бой-парень, прости господи.

— Ты еще вероваешь, бабушка!—восклицал Вася. —А у нас к часовенке пристройку сделали и кино кажут. А я во Владивостоке краснофлотцев видал...

Вечерами в кают-кампании собирались и каютные пассажиры, и работники из команды, в том числе и сам капитан, были тут и пассажиры с палубы и трюма. Те, кого не увлекал преферанс и шахматы, удивляли друг

друга анекдотами. Из-за старых анекдотов иногда выскакивали очень интересные правдивые рассказы. Когда один из пассажиров рассказал давно разоблаченную утку про допетровский город с боярскими нравами, обнаруженный в глухой Сибирской тайге, его сосед-пограничник рассказал вполне достоверный случай о том, что в Совгаваньском районе близ промысла Датта был случайно заехавшей сюда краевой бригадой обнаружен лесозверсовой совхоз, о котором уже пятый год в районе никто ничего не знал. Забыли. Директором этого странного совхоза был некто Асемкин — ужасный скопидом, который не доверял никому даже куриц, сам щупал сколько кур несут яйца. Пограничник сказывал:

— Когда бригада приехала, Асемкина в совхозе не было, он... пас пятерых коров. Наконец скот пригнал. Приезжие его спрашивают: «Ты директор, товарищ Асемкин? Чего же ты коров пасешь?». «Пасу, — отвечает, — я и доить могу, не господин»... «А что, кроме тебя скот пасти и некому?». «Да есть тут целая орава, а только свой глаз надежней». «Сколько у тебя рабочих-то?». «Десять. И все—жулики-и! Ох и жулики, скажу вам, все крадут, уж яйца, и те таскают. А только я хитер (и он подмигнул): я это куриц-то перещупаю, смотрю—двадцать одно яйцо, ладно—жду, глядь мне несут 15 яиц. А-а, говорю, жулики, шесть яиц зажилили, где шесть яиц? Так вот только и ловишь»... Асемкин говорил это, не стесняясь присутствия рабочего хозяина хаты. Налив стакан густого чаю, тревожно взглянув на двор, где были недоенные коровы, он его выпил залпом. Тьма сгустилась. Приезжие начали спрашивать насчет ночлега. Один Асемкину и говорит: «Может у тебя есть где заночевать?». Тот вздрогнул: «У меня? Нет, у меня негде». «Как негде?». «А вот и негде. Нету у меня квартиры особой!». «Так ты как же?». «Да сплю как придется. Хошь — вот тут лягу». «Скопидом! Ко-

щей бессмертный! Зверюга!»,—не утерпев начал причитать хозяин хаты. — Себя морит и нас заморил. Окаянный чорт! За воров ведь только и считает. Хуже каторги, — жалованья пятый год нету, провизия только та, что урвать сможем, хоть беги. Да куда с семьей-то убегишь — лес кругом урманный, да вода».. «Верно это, Асемкин?»,—спрашивают его, а он: «Сами видите— лес и вода. Где я денег возьму? Я их не печатаю. А насчет провианту врет нахально. Все-таки картошку выдаю, молоко, хлеба у нас запасы. Известно—жулики». Словом, выяснилось дальше, что Асемкин попал в совхоз сразу же после партизанщины и с тех пор никуда не выезжал. Пароходы же ходят в Датту мимо. Зверя он никакого не разводил, только и зверья — что сам да коровы. «Рабочими» были старые жители того самого поселка, где первые совгаваньские районные работники решили организовать совхоз. Организовали и забыли. И сам Асемкин забыл, что его «организовали».

Пограничник кончил. Его внимательно слушали, но никто не смеялся. Это оттого, что его рассказ вызвал к жизни у каждого обитателя этих далеких берегов свой рассказ с непременной жалобой на оторванность и получающиеся от этого казусы. Председатель одного северного колхоза рассказал, как не везло им с сельхозмашинами. Выписал колхоз прошлой осенью трактор. Трактор этот получили в июле, после пахоты, и без плуга. Плуг пришел вместе с косилкой, которую получили, когда закончили сенокос. И посыпались, наконец, как из рога изобилия, вечные рассказы о том, как плохо работают связисты. Сахалинец Новинский рассказал, что телеграмма, которую он послал матери во Владивосток с предупреждением о приезде, как потом оказалось, ехала с ним вместе на пароходе в почтовом мешке, а матерью была получена на десятый день по приезде сына. Серьезный финработник с томиком Иб-

сена заметил, что, собственно говоря, ведь и это подчеркивает рост края—если раньше, до войны, с Сахалина шло в день по одной-две телеграммы казенного содержания, то теперь с разных концов Сахалина ежедневно идут сотни телеграмм и деловых и личных плюс регулярная авиапочта и летнее сообщение пароходами. Конечно, плохо, что сахалинские администраторы телеграфа принимают телеграммы без отказа, а потом мешками их отсылают на материк. Это очень нехорошо.

— К Тернею подходим, — кричит в дверь каюткампании дежурный матрос. Начинаю наскоро прощаться со спутниками, спешу собраться, чтоб ехать на берег с первым же катером. Очень спешу. А зря. Ведь знаю, что пароход будет стоять тут, в Тернее, под выгрузкой, может быть, сутки. Но уж странная такая человеческая торопыжесть — доехал, поскорей бы спрыгнуть, тяжело ехал.

До Тернея всего триста миль, но пароход пришел лишь в ночь на 4-е сутки. Были две больших по количеству сброшенного груза остановки: в бухте Ольги и Джигита, где теперь работает большой консервный завод Пластун, рыбный промысел Дальгосрыбтреста и большой рыболовецкий колхоз «Искра коммуны» — рыбаков-переселенцев с Северного Кавказа.

Пароход бросил якорь в полумиле от берега.

Тихое полноводное небо отражалось в спокойствии моря. Спущенный с парохода катер смог зайти в устье реки Терней, что совсем немыслимо даже при небольшом ветре — берега здесь остроскалые, много подводных рифов, на которые грозит бросить любое мелкое суденышко стремительный накат волн.

Тернейский морской берег пока-что пуст. Виден единственный слабый огонек около домика агента Совторгфлота. Село лежит в четырех километрах вверх по реке и его огни видны только с половины пути. Связь

села с морским берегом до сих пор речная, хорошей сухой дороги нет. В ночную пору поэтому село для меня оказалось почти неприступным. Я был единственным сошедшим с парохода в Тернее. Ни лошадей, ни попутчиков в село не было. Пошел один. Километр-два ноги ступали по твердой каменистой дороге, но вот дорога исчезла, нога погрузилась в холодную топь. Я сразу почувствовал это, так как обут был по-владивостокски: носки и полуботинки. Отступив, я, сколько мог охватить глаз в темноте, внимательно осмотрелся: слева висела голая скалистая сопка, справа была долина реки, кустарник, а впереди — совсем близко — огни Тернея. Я отчетливо слышу лай собак и разговор. Вот кто-то сердито кличет собаку: «Джек, Джек, сюда проклятый!».

Эхо далеко-далеко в долинах повторяет этот крик «иек, иек, юда оклятый»... Пробую на крик пройти под сопкой — безнадежно, тоже погружаюсь в топь; пробую справа у реки — топь. Тогда и я начинаю кричать: «Джек, Джек! Эй, в Тернее! Кто там есть? Выходи с фонарем навстречу!»... Через минуту назойливого крика, меня услышали, и, как видно, поняли. В ответ кричат: «Ладно, жди, сейчас выйду!». Вижу за кустарником пополз влево, приближаясь ко мне, фонарь. Вот подошел человек в накинутой на плечи шинели. Вместе с «Джеком». Человек, подняв фонарь, пытливо меня осмотрел, собака любопытно обнюхала.

— Здорово! Кто такой и откуда? — сказал человек.

Я ответил, ругаясь: «Чорт подери, спасибо, что услышали. Прямо хоть здесь ночуй на кочках или назад возвращайся. Что-же это вы дороги в «порт» не сделаете?..

— А ты это товарищу Морозко скажи. Начали субботниками дорогу класть. Но что-то мало субботничаем. Да оно, пожалуй, и некогда, весь народ в раз'-

езде. Терней, вроде как. на замке. Путину сейчас провертывают. Пора у нас, не подступись, горячая.

Человек с фонарем провел меня сухой тропинкой в село, к новому бараку со сквозным коридором:

— Вот тут живет Морозко и другие наши районные работники. Но других нет — на путине, да и Морозко только что вернулся — будить его не советую, пусть выспится, глаза у него вчера были пухлые. Вы вот лучше сразу сюда пройдите, да и ложитесь спать. Время, если мои часы не врут, полдвенадцатого. Ну, спокойной ночи...

Прошел в пустую комнату, без штукатурки и окон, В комнате лежал на полу, закутавшись в одеяла и пальто, человек; он повернул ко мне сонное лицо с вопросом:

— Э-ге, пароход? Из Владивостока? Не слышали грузы нам какие есть? Нет! Что? В Джигите выгружали? Хлеб и соль? Так-так. Ну, вот тут укладывайтесь, Лучше ночлега в Тернее пока нет. Я? Я—заврайснабом, тоже только что приехал...

Утром я увидел село. Большое, на двое разрезанное широкой многоводной рекой, охваченной боном, связью из бревен на стальных тросах, и задерживающей сплавленный лес. У берега стоят колхозные катера, кавасаки и маленький сейнер — механизированное рыбацкое судно,—который здесь пока занимается тем, что возит по побережью продовольствие, соль, тару и людей.

Районный центр начали строить заново. Стоят уже четыре готовых двухэтажных дома, несколько еще строятся, на реке повыше бона строится лесозавод, бондарные мастерские. Не узнал бы покойник Арсеньев Тернея, где он видел четверть века назад две-три китайские фанзы, да в глубине долины и у подножья горы Доброй охоты несколько юрт удэхейцев.

Встретивший меня товарищ оказался прав—райком

совсем пуст, сидит только комсомольский секретарь — надо ему готовить встречу призывников десятого года. Кроме него есть несколько работников в рике и в леспромхозе, которым пора развертывать подготовку к заготовкам леса. Все остальное—«на замке».

Морозко я встретил через час в его «кабинете». Это—малюсенькая комната, отгороженная от общей райкомовской комнаты неструганными досками. Стоял в ней тесовый стол, один стул, узкая скамейка и кривобокая этажерка со старыми газетами. Морозко сидел в ватной теплушке и мокрых сапогах, разговаривая с заместителем директора леспромхоза Ерыгиным. Мне он крепко пожал руку. Удивился — как это занесло! Рад человеку хабаровскому. Он сам-то—хабаровский, только нынешней ранней весной был послан сюда. За все это время, как тут стали округлять новый район, никто не приезжал из края, а Фадеева—уполномоченного крайкома по путине — он уже давно считал «своим».

Извинившись,—разговор с Ерыгиным был спешный, — он продолжал его:

— Вот что, Ерыгин. Мне только сейчас сообщили, что фрахтованный пароход «Ураджио-Мару» стоит в Джигите и не грузится третий день. В чем там дело, ты знаешь?

— Наверное прислали за лесом на японский рынок, а там лес закольцован на китайский...

— Как так наверное? Кто же будет знать, коли не ты? Смотри, Ерыгин, ты знаешь, чьи деньги летят за простой. Ей-богу, взгреем. Немедленно заинтересуйся этим и сообщи к вечеру. Как с сеном?

— Ничего, я считаю, благополучно, уборка идет к концу...

— Учти, что плохо идет у белемейцев. Им нехватит сена. Сорвут вывозку леса — сморят лошадей, если сейчас-же не выкосят увалы под Широкой падью. А там я видел хорошие травы. Какие у нас травы! (с улыбкой

он оборачивается ко мне). Жирные травы (это он говорит уже Ерыгину). Ну, а продовольствие все заброшено? Бараки все готовы?

— Подробно доложу, когда вернусь с Джигита, полечу верхом туда. Беда, если зря пароход стоит...

— Ну, лети. Пожалуйста, лети.

Ушел Ерыгин — пришел Мазуров, председатель районного рыбаксоюза. Он тоже только-что вернулся с побережья. Привез тревогу: начинается сильный шторм. Здесь, в долине, пока не чувствуется, что поднялся зюйд-ост — страшный ветер для здешних берегов, близких ко входу в вечно бурлящий Татарский пролив. Идет шторм, говорит Мазуров, а колхозы только вчера поставили невода после недавно пробуянившего шторма. Успеют ли их снять? Кроме того в море катера и уже вышел к северу сейнер. А тернейский север—голый, остроскалый, бухт, как на южном Приморьи, нет—совсем некуда спрятаться.

— Шторм, когда каждый день дорог?! Нежелательное явление, — цедит сквозь зубы Морозко. — Ведь нам бы еще только одну спокойную декаду хорошего хода иваси, и план, весь план, будет взят. 85 процентов у нас есть, но два шторма подряд — это невозможно. Какой проклятый год по штормам!..

Морозко решает снова ехать к северу по колхозам и промыслам вместе со мной. Ехать придется верхами. Раз шторм, то путь морем теперь закрыт, ни одно суденышко не сможет выйти из устья Тернея. Терней совсем «на замке».

Тревога Мазурова быстро оправдалась. Меньше чем через час не стало ни солнца, ни ясной осенней тишины. Терней мгновенно со всех сторон обложило густыми тучами, полил сразу же как из ведра дождь, долиной свирепо засвистел ветер. При всей готовности мы не могли выехать немедленно — пришлось переночевать.

Вечером мы сидели в тесной бревенчатой квартире секретаря. В закрытый ставень жестоко барабанил ливень. Морозко тихо говорил:

— Я не знаю, каким район был в старину, в досоветские годы, но сейчас мне кажется, что он самый богатый в крае. Я, быть может, увлекаюсь, да без этого и нельзя. Поедем — увидишь. Район я буду об'езжать в третий раз. Прекрасный район по естественным данным! Мы можем, и я думаю быстро, поставить на ноги рыбное дело, лесное, мед, хлеб, звероводство, охоту, добычу минералов, ценностей из недр. Людей немного есть, но надо их еще больше. Надо вгрызаться в глубь района, а ведь там, послушай только, еще никем не виданные места.

Сейчас в районе семь колхозов русских, да пять интегралсоюзовских на Самарге. Есть хорошие колхозы, рентабельные, счастливые. Не сами по себе они стали такими.

Почистить пришлось. С этого собственно и начали. После войны и революции тут ведь совсем нетронутые тузы остались. Староверы, кулаки, разжиревшие за счет эксплоатации тазов, корейцев, орочон и удэхейцев. Наши руки до всей этой кулацкой падали долго не доходили. Ведь это был самый забытый, далекий кусок Совгаваньского района. Совгаваньские леваки в 1930 году начали коллективизацию приказом, лишь бы побольше процент наколотить. Ну и получились тут наперво кулацкие колхозы, особенно в долине Кхуцина, где кулаки все под себя подгребли.

Беднота подсобила да новые люди поприехали. От кулаков почистились, вздохнули легче, впервые по-советски зажил район. Ну, а дальше пойдет. Пойдет. Вот кончить бы путину, да вытянуть лес. Это уже база для разбега. Шторм этот уж очень некстати...

Долго мы сидели, бесконечно делясь новостями. Газет он с полмесяца не получал. Его волновало то,

чем жил мир, страна и наш край. Меня волновали те факты о жизни молодого района, которыми он был переполнен..

Для новой ночевки мне уже отвели топчан в канцелярии лесного профсоюза между книжной полкой и столом председателя, которому принадлежал и топчан. Сам он из любезности пошел спать к брату в село за рекой. Попрощавшись с семьей Морозко, я наощупь побрел к ночлегу.

На дворе — непроницаемая ночь. Ливень перешел в однообразный дождь, который нудно лил и весь наступавший день.

Только к полудню сплошная завеса туч прорвалась. На севере показались первые клочья чистого неба. Дождь стал редеть. Тогда мы оседлали коней и, переплыв широкий Терцей, двинулись через перевалы к северу на Тавайзу, Белембе, Кондо, Великую Кему...

6

Новости в долине Белембе

Тавайза, Секема, Кондо, Белембе — все это китайские названия мест, упрощенные новыми многочисленными обитателями тернейских берегов, приехавшими из «далекой России». Китайцы звали эти места: Тай-Пау-Цзы, Сяо-Кема, Ку-Янь-ды, Бин-Лян-Бей и т. д. Китайцы раньше всех узнали эти дикие места.

Это были в большинстве жадные кулаки Цайдуны — хозяева долин: они безжалостно эксплоатировали туземцев, выколачивая с них дань за право жизни

и промысла в той долине, где царствовал Цай-дун. Цай-дуны вышиблены из долин. Года три-четыре как о них ни слуху, ни духу.

Были тут в некоторых долинах (Белембе, Тавайза) фанзы макосеев, поставщиков яда, но и они исчезли. Прятать посевы стало трудно: найдут их в сопках колхозники—выкосят мак, уничтожат. Теперь только у Дальиода ловцами морской капусты работает несколько артелей привезенных сюда китайцев. Их фанзы стоят на прибойных берегах, у подножья скалистых отвесов. Они окружены кучками высушенной и прикрытой цыновками капусты, готовой к отправке на иодный завод, окружены грудами свежего густозеленого капустного улова и малюсенькими огородиками.

Тернейский район—типично приморский. Своими живыми силами он расположен пока что весь на берегу Японского моря, на огромном прибрежном пространстве от бухты Джигит с юга до Самарги с севера, что больше трехсот миль. Границы района уходят на десятки миль в глубь материка, но там пока пустынные глухие места — в тайге на севере района встречаются лишь редкие стойбища удэхейцев, да зимой оживают лесосеки в долинах сплавных рек — приходят колхозники приморских сел заготовлять лес. Все основные населенные пункты района—на морском берегу. Только во второй пятилетке район начнет завоевание тайги, сопок и долин. Его экономика будет прочно лежать не только на рыбе, но и на лесе, на пушнине, золоте, сельском хозяйстве. Новые районные работники нового района уже успели стать горячими его патриотами — спят и видят блестящее будущее Тернея. И это будущее их не обманет, если они его сумеют взять.

Пока что к этому будущему Тернея нет даже троп. В районе, даже по берегу моря, между крупных сел первобытное бездорожье. Правда, в погожее летнее вре-

мя, когда на море тишь и есть катер или кавасаки, можно быстро об'ехать район, но в грозные дни частых осенних штормов и всю зиму по крайней мере месяц нужен, чтобы пройти и проехать к северу: встречаются труднейшие перевалы, например знаменитый Кхуцинский «лаз», где лошадь должна перепрыгивать через пропасть на узкой горной тропинке высоко над бушующим морем, долины же, или как их тут зовут—«пади», полны острой каменной осыпью, а местами, наоборот, это опасные сплошные топи, где даже на дороге лошади вязнут по брюхо, а стоит только чуть свернуть в сторону и лошадь засосет жадная трясина. Зимой часто советские и партийные работники района ходят в командировки на лыжах.

Тавайза—первое село от Тернея. Два-три десятка дворов колхозников-полеводов. Здесь же — центр первого промысла Дальгосрыбтреста.

Колея дороги от Тавайзы к северу была только до 49 рыболовного участка. Это километров шесть. А дальше, в Широкую падь обычно ездят берегом моря, через перевал дороги нет. Но шторм был ужасен. Нечего и думать, чтобы пробраться берегом — волны захлестывали берег на высоту трех-пяти метров. Решили мы тогда ехать через перевал. Рабочие промысла говорили нам о какой-то тропинке. Но как можно в проливной дождь найти в пустом лесу охотничью тропинку, заросшую высокими таежными травами? Мы взяли наугад прямой курс через высокую сопку. Лошади, напрягая мускулы, шагали вверх. Хлестал по лицу и путался в стременах высокий и густой кустарник. Брезентовые плащи, намокнув, одеревянели и только затрудняли продвижение. Через полчаса под'ема мы были на вершине сопки, но тут-то и запутались. Без компаса сориентироваться было невозможно: кругом густой и высокий лес — ничего не видно, а из-за шума дождя совсем не слышно штормового рева моря. Стали од-

жал деньги охотникам и рыбакам от Тернея до Кемы. Кулацкий хутор во всей своей хищной целостности оставался нетронутым по этот год и лишь весной хитрые Пинясовы, учуяв, что их царствованию в долине подходит конец, быстро размотали скот, а сами ухитрились пролезть в Белембейский колхоз, пользуясь тем, что у колхоза было молодое руководство из последних переселенцев, не знавших ни здешних мест, ни их обитателей. Только недавно кулаки были разоблачены: их уличили в том, что они, разбазарив имущество, вошли в колхоз, одев лохмотья бедноты, а в колхозе пытались взорвать его изнутри — вели вредоносную работу, клевеща на колхоз, выискивая среди колхозников недовольных, обиженных, об'единяя их для борьбы за развал колхоза.

Когда мы заехали на хутор, все Пинясовы были дома На пороге крайней хаты встретила нас крепкотелая кулачка Марфа — жена старшего сына Ефима. Морозко они тут знали хорошо. Марфа заулыбалась.

— Смерзли, поди, товарищи? Как вас бог понес в такую непогодь? Да как вы это в падь-то попали? Проходите, товарищи, чайку испить...

Гостеприимство Пинясовы, как и раньше, оказывали только «начальству». Будь простой путник, хотьбы в зимние вьюги сбившийся с пути, ему на ночь здесь не дадут приюта,—проходи, говорят дальше,— или в качестве особой чести пошлют ночевать на скотный двор.

От чаю мы, продрогнув до костей в дороге, не отказались. Надо было разуться и выжать портянки. Прошли в просторную, светлую горницу. На лавках сидели дочери Марфы — полнощекие, пучеглазые, толстокрые. Одну из них Марфа позвала в сени, пошептали чего-то и через миг девчонка пробежала мимо окон в дальние дома хутора.

Через пяток минут в избу, вошел, низко кланяясь,

седой, весь белый старик. Это и был сам Ефим Пинясов. При его входе девчонки встали и низко поклонились ему. Старик сел и начал тягуче жалобно говорить, впутывая слова из писания:

— Вота како дело к вам, товарищ Морозка. Ягушка у меня была, значит, маненькая... Ну когда, значит, учительша с Билинбы писала лист окладной, я ей и говорю: ягушку-то зачем писать? Не пиши, голубунька, маненькая она, вдруг богу душу отдаст. Она одначе вписала... Ну, а тутако зверь об'явись вечорась. Задрал, значит, овец и ягушку ту самую... Како же теперя быть? Налог-то за ягушку, скиньте-ко...

И жалок и гнусен был этот старый, когда-то остроклыкастый враг, напрятавший немало богатств, награбленных за безраздельное хозяйничанье в этой долине, и теперь хлопотавший, чтобы скинули шесть гривен налогу за ягненка. Хитер Ефим — плевал он на шесть гривен и ягушку. Не за скидкой он пришел,—он пришел, во-первых, показать свою бедность (вишь, мол, хлопочу за какие деньги — нужда!..), а во-вторых, доказать советскому начальству, что зверь скот дерет (так, мол, весь скот и задрал, косточек не собрали, дескать).

Хищная волчица Марфа смотрит на старика, не мигая и жалостливо грудным голосом тянет:

— Э-эх, папаня, ягушка ваша... Да, что там ягушка... Ты, проси, штоб товарищ Морозка старость твою не тревожил, штоб с гнезда не сгонял...

Они уж, конечно, прослышали о решении колхоза «Красный пограничник», который, разоблачив Пинясовых, ходатайствует о том, чтобы их выслали из района, как представителей эксплоататорского класса За эту долину берется колхоз.

Мы, проглотив по стакану пустого чаю, переобуваемся и уезжаем молча, провожаемые холодным взглядом.

К вечеру без особых приключений лошади донесли нас до Белембе.

Открылась просторная, широкая долина Белембе. Она далеко уходит на северо-запад. Богата она лесами: дуб, кедр, орех, клен, береза, хвойные. Удобная сплавная река сделает ее в будущем крупным лесоэкспортным центром. Она и сейчас уже дает не мало леса на экспорт. Но неудобство Белембе, как и всего северного побережья, в отсутствии бухты и пристани, лес катерами цепочкой буксируется к борту парохода, который стоит за целую милю на рейде. Это возможно только в спокойные дни, которых здесь очень мало.

Лошади вошли в большое село. Все туже четверть века назад Арсеньев нашел здесь у подошвы высокой горы Железняк лишь одну фанзу удэхейца. Пинясовы в Широкую Падь приехали уже в 1910 году первыми переселенцами из Сибири. Захватив Широкую Падь, они никого из новых поселенцев туда не пускали. После войны несколько семей сибиряков поселилось на берегу р. Белембе. Но поселок вырос в большое село уже в советские годы. Большинство его новых обитателей, не считая совсем недавно завербованных рабочих улесхоза,—организованные переселенцы с Северного Кавказа.

Встретивший нас председатель колхоза «Красный Пограничник» Григорий Каплунов—в недалеком прошлом ростовский рабочий - кузнец ленинских мастерских, член партии, красный партизан. Приехал он в 1930 году вместе с переселенческим колхозом «Искра Коммуны», который сейчас работает в бухте Джигит.

Новые, советские люди внесли в тайгу большие перемены: об'единившись в колхоз, 120 бедняков, середняков и рабочих планомерно, а не хищнически, осваивают тайгу и море, берут их богатства, улучшая

свою жизнь и умножая пользу своему советскому государству.

От этого села тянутся дороги в тайгу, где уже кончают приготовления теплых бараков для лесорубов, первые лесорубы вышли в лес; к морю, где стоят невода и выходят на лов кавасаки и кунгасы — тысячи центнеров рыбы дает колхоз стране; идут охотничьи тропы в сопки, где колхозные охотники бьют сохатых, рысь, выдру, медведя и белку, ловят соболей; в олений питомник, где у колхоза живут и множатся десятки благородных изюбрей-пантачей, кровяные рога которых идут на вес золота; в поля и долины, где убирается колхозный урожай с первых 90 га.

Мы попали, видать, в праздничный день. Поют горячие частушки, демьяновскую «Как родная меня мать провожала» и партизанскую дальневосточную «По долинам и по взгорьям».

На широкой сельской улице стайками бродит поющий молодняк. Первую песню заливисто поет большая смешанная группа из ребят и девушек, вторую — строгую песню победителей Приморья—густыми нотами берут собравшиеся у клубного крыльца рослые парни. И между двух этих песен плещется распеваемая на один веселый лад своя, белембейская, частушка. С разных концов улицы несется:

***

Говорила мне мать —
— Ты легла бы, Маша, спать...
Не послушала мамашу —
В клуб скаре бы побежать...

***

Ходит в море кавасак —
За рыбой гонятца...

Полюблю ка коммуниста —
Пущай мать ругаитца.

**
*

Пароходы мимо ходют —
Крашеные трубы...
Чужих девок не завозют —
Крашеные губы....

**
*

Каплунов улыбается:

— К веселью угодили,—мы сегодня призывников провожаем; нельзя не повеселиться, но по-новому, по-нашему. Хотите пойдемте сразу. Мне-то беспременно там следует быть—речь держу...

Итак, прямо с седел—и на бал.

Поставив лошадей на колхозном дворе, идем в клуб колхоза и учлесхоза. Народу — битком. Плата — полтинник, «в пользу китайской Красной армии». На улице у крыльца суетятся с самоварами несколько женщин: будет, оказывается, буфет — чай с пухлыми белыми булочками. И буфет «в пользу китайской Красной армии».

Однако же откуда все это? Каплунов об'ясняет: газеты, как и всюду на побережьи, сюда приходят редко, зато уж те, которые попадают, зачитываются до дыр, и на все газетное люди привыкли реагировать активно. Никакой кампании за финансовую помощь китайской красной армии газеты, конечно, не проводили, но о одном из номеров газеты «Тихоок. Звезда» тут прочли статью, как китайские коммунисты—пролетариат и крестьяне—геройски отбивали четвертый поход Чан Кай-ши против советских районов Китая, очень порадовались этим победам и решили помочь, чем могут, укреплению китайской Красной армии, «чтобы она была еще крепче». Вот и все дело.

Вечер начался в непривычном для нас порядке: сначала пьеса, а потом заседание.

Вот сцена в маленьком бревенчатом зале, освещенном двумя керосиновыми лампами, открылась, и актеры драмкружка стали разыгрывать несложную клубную пьесу. Зрители вслух называли всем знакомые имена и фамилии исполнителей, от души покатывались со смеха над необычайными для них гримами. Когда были узнаны все исполнители, внимание перешло к содержанию. В пьесе действие закручивалось вокруг одного парня-колхозника, который ради любви к девушке—дочери кулака—ушел из колхоза, но стал мучиться в раскаянии немедленно, в тот же день, понаслушавшись диких для него разговоров: слишком велика оказалась пропасть между полным трудового интереса житьем в колхозе и злобной жизнью изолированного от всего села кулацкого дома. Парень стал изо всех сил агитировать свою жену сбежать из отцовского дома, и его трудная роль увенчалась успехом. Вот парень вместе с молодой женой снова в своем родном колхозе. Его не судят, — его тепло принимают. Пьеса кончается сообщением, что собрание колхозников решило, признав в своем селе сплошную коллективизацию, выселить кулаков, и жена парня-колхозника голосовала за это. Пьеса, несложная, штампованная, здесь была очень актуальна в связи с Приморским хутором. Публика приняла ее близко к сердцу, наградив и пьесу и своих домашних актеров такими аплодисментами, что дрожали потолок и стены и мигали фитили керосиновых ламп.

Потом уже были речи, рапорта, желали всякого добра будущим красноармейцам, были рапорта самих ударников - призывников, обещание быть примерными бойцами, пел песни хор из сплавщиков, охотников, рыбаков и лесхозовских счетоводов. До трех утра продолжалось это редкое в здешних условиях веселье.

Очаровательным был этот самый белембейский хор

Это, кажется, те самые парни, что вечером, сгрудившись кучкой у клубного крыльца, пели партизанскую песню. Только сейчас среди них стояли на сцене четыре девушки. Дирижировать вылез из-за кулис, к нашему удивлению, Каплунов. Чуть заметно улыбнувшись нам, он объявил:

— Мы сегодня, товарищи, по случаю проводов призывников споем две душевных песни: одну—про Красную армию, под названием «Конница Буденного, дивизия вперед», а другую—партизанскую, нашу дальневосточную, под названием «По долинам и по взгорьям». Только потише просим...

Зал замер. Каплунов одел очки, взял в правую руку карандаш и взмахнул. Полилась бодрым мотивом любимая в крае песня:

По долинам и по взгорьям,
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боем взять Приморье —
Белой армии оплот.

Развевалися знамена
Кумачом последних ран —
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.
Партизанские отряды
Занимали города.

И останутся как в сказке,—
Как пылающие огни,—
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Разгромили атаманов,
Разогнали воевод.
И на Тихом океане
Свой закончили поход.

— Хорошая песня? — спросил дирижер, кончив петь.

— Баская, ладная, хорошая, всем песням песня. Еще спойте,—послышалось в ответ.

Каплунов продолжал:

— Да, товарищи, время-то как летит. Через месяц десять годков будет, как с Дальневосточного края и отсюда вот, значит, Красная армия разогнала воевод. Мы с вами со многими северокавказцами в ту пору советскую власть укрепляли, комитеты бедноты, а тут кровь еще лилась за советы. Давайте-ка еще раз накажем нашим ребятам, что в армию идут, примерными бойцами быть, чтоб не марать нашего высокого имени «Красного пограничника». А мы с вами, оставаясь здесь, будем соревноваться с ними, строить наш крепкий колхоз. Ура!.. Ура!..

И хор и зрители дружно прокричали «ура». Так кончился неожиданный вечер.

Расходились с песнями, расплываясь по широкой колхозной улице. Восток уже алел.

Мы с Каплуновым шли в конце села. В ногах чувствовалась усталость. С моря дул свежий ветер. Где-то далеко за нами в последний раз взметнулась частушка и в наступившем предрассветном молчании снова заворкотало море. Шторм продолжался.

*

Ночевали у Каплунова. Председатель живет более чем скромно — бедная единственная малюсенькая комнатка с двумя столами и кроватью. Когда мы с Морозко развалились на медвежьей шкуре от порога до сто-

ла — свободного места на полу больше не осталось, и ночью Каплунов к двери шагал через нас.

Утром его жена—вятская тихая баба—на завтрак сварила картошку и скипятила чай; сам же он сходил куда-то и принес белого хлеба и кусок мяса сохатого на обед:

— Что-ж у тебя и колхозники так живут, что ничего дома нет? — неожиданно сердито спросил Морозко.

— Лучше маленько, — вдруг смущаясь ответил Каплунов.—Зачем же так? У нас не так уж плохо живут, — несколько оживился он: — сохатого охотники позавчерась убили, я особую бригаду создал, охотничаем, все теперь получают мясо; есть рыба, овощи, картошка у нас чудесная уродилась — есть такие экземпляры, что хоть на выставку: по полкило штука. Ну вот едят. Кроме того—варенье, мед свой, а сахар у нас есть. Вот только с молоком неважно: взрослым колхозного молока теперь не даем — пьют только ребятишки в яслях...

А у тебя что—весь скот в колхозе?—Пытливо спрашивает Морозко.

— Что ты, что ты?!... Нам решение ЦК отлично известно. В том-то и дело, что на колхозном дворе всего с десяток коров — они и обслуживают колхозные ясли. У нас каждый колхозник свою корову имеет. Какие были ошибки, так исправили.

— А ты-то чего на картошке сидишь?

Каплунов отвернулся:

— Ну, да ведь не сдохну. Слава тебе, сыт. Я, признаться, разговоров не люблю. Вот ужо уборку кончим — схожу сам на охоту, птицы настукаю... Глухаря в эту пору ну и много-же!..

— Это не гоже, глупости — разговоров бояться. Председатель работает не меньше колхозников, все это видят, чего-ж ему хуже жить! Живи по праву.

— Пустяки это, товарищ Мороэко. Мужик я креп

кий. Я тебе лучше про другое расскажу. Ты знаешь, мы тут вот недалеко, между Широкой падью и падью Уполномоченного, нарзанный ключ открыли. Ну нарзан —и только. Газует... Все честь по-чести. Я хочу для колхозников, которые на рыбе, в лесу и в поле работают, дом отдыха открыть в Широкой пади.

— Дело!—одобрил Морозко.

— С колхозниками толковал. Некоторые одобряют. А кой-кто, конечно, и в голову себе не возьмет, как это отдыхать, да еще не у себя дома. Но, я думаю, привыкнут. Вот Пинясовых выметем—один дом отведем под отдых...

В маленькое жилище председателя то и дело заходят колхозники. Забежал зав. рыбной базой, сообщил, что дальний невод стоит крепко — шторм ему нипочем (здесь шторм, как и полагал Морозко, нахлынул так внезапно, что невода убрать не успели и два крыла сорвало). Свой колхозный «агроном»-практик приносит огромную сочную картошку. Скотник спрашивает подмогу, чтобы укротить колхозного быка, огромного и злого, к которому шестеро не могли подступиться. Сообщают о здоровье кузнеца, которого всю ночь мучили зубы—только заснул, авось к полдню оклемается, так примется ковать подсанки для вывозки леса.

В полдень пешком идем по береговой дороге мили за три на рыбалку колхоза. Море еще свирепствует. Сердито набросало оно на берега сотни бревен, бочки, осколки где-то разбитых парусников и навалило шуршащие зеленые груды морской капусты. Суровый зюйд-ост бьет с ног. Тяжелой кажется дорога. С рыбалки навстречу, сгибаясь под ветром, идут жены рыбаков с кульками, корзинками — там кооператив, это они получили норму. Встречается идущая с матерью маленькая девочка и делает Каплунову пионерский салют. Он в ответ прикладывает руку к надорванному козырку фуражки и, не опуская ее, показывает вверх,

на сопочку справа, охваченную проволочной изгородью.

— Вот тут наш олений питомник, пантачи...

На рыбалке—штормовая тревога. Все тревожатся за дальний невод. То и дело бегают на сопочку и смотрят в бинокль — цела-ли рама? Но беспокойство не только за невод, — есть беспокойство и за людей: колхозу третьи сутки ничего не известно о катере, ушедшем в Кхуцин, а на катере двое людей.

— Старшина там—Скакленев Григорий,—говорит Каплунов.—Это не человек, а железина, зря жизнь не отдаст. Но чорт знает, что ни случится...

В сарае, где идет уборка готовой соленой иваси в бочки, встречается жена Скакленева:

— Ну как же катер? Ничего не известно? — с надеждой спрашивает она.

— Нет, ничего пока...

— Григорий Ефимович, в случае чего вы уж не скрывайте, я ведь вынесу. Мне тут бабы говорят, что погибли ребята. Будто в Тернее, уж и на берег их выбросило...

— Глупые бабы, которые говорят... Не верь. Григорий, твой мужик, не простофиля — в Нельме, я думаю укрылся... Кто эти глупости говорит-то?..

— Да Квашина старуха...

— Нашла кому верить! Ведь радио не надо на все побережье, когда эта старуха есть. Вот язык—что твое мочало! Дура она, так ей и скажи...

Скакленева отвернулась, посмотрела на белые гребни волнового наката и, туже завязав головной платок, нагнулась над бочкой и стала продолжать проворно укладывать соленую иваси.

С сопочки, откуда наблюдают сейчас за неводами завидев нас, с биноклем бежит Семен Скакленев—заведующий ловом, брат старшины с пропавшего катера:

— Ты чего Григорьевой бабе сказал? А-а, правильно. Я ей говорю то же. Гришка наверное где-нибудь

укрылся. А у нас беда — трестовский кунгас стянуло волной с берега, унесло и разбило. Удержать не могли, очень было рискованно. Вот шторм проклятый! Ну, а невод дальний покуда еще держится, рама на месте, Барометр начинает качаться, назад идет. Думаю я, что завтра пойдет на тихую...

★

В рыбацком бараке Скакленев рассказывает о рыбном деле колхоза:

— Всего наш колхоз поймал 2600 центнеров, иваси из этого числа—1152 центнера. Плохо еще ловим. Поздно нынче стали ловить из-за снаряжения. Новой дели на невод, когда надо, не было — все она шла к нам пароходом. Ловили старым неводом, а он был еле живой. Подвел он нас очень. Помню: только иваси появилась, смотрим в неводе рыбы — ужас сколько, центнеров 600. Два кунгаса центнеров по 80 начерпать успели, как вдруг невод-то и прорвался — поминай как звали. Эх, сказать вам, моя мечта — плавной невод. Ей-богу, коли мотор хороший к катеру достанем да новой дели, я плавной на будущий год закачу...

Плавной невод—сейчас мечта, к сожалению пока мечта, многих. Сейчас по всему Приморью, как и в Японии, и в Корее, иваси ловят сетками, которые об'ячеивают, подхватывают за жабры каждую попадающую в них рыбу; затем ловцы привезенные на берег сетки передают специальным отцепщикам, которые руками буквально каждую рыбу вытаскивают из ячей сетки. Отцепка сама по себе стоит огромных затрат—1 р. 20 коп. платим мы за отцепку с центнера,—требует многих тысяч отцепщиков и кроме того вредит качеству рыбы: отцепщики много рыбы рвут, головки часто остаются в сетке. Уже есть орудия, которые берут иваси не об'ячеивая ее, сохраняя рыбу целой, берут ее массой. Это так называемые

кошельковые невода на механизированном, более совершенном лове сейнерами. В Калифорнии практикуется исключительно такой лов иваси. Но мы пока еще сейнерами бедны, в этом лове не имеем опыта, поэтому плавные сети на иваси для нас были бы выходом, с ними мы могли бы использовать и наш большой полукустарный флот — кавасаки, кунгасы, шаланды. Плавной невод обхватывает косяки иваси снизу и сверху, рыба попадает как бы в ловушку массой. Но в этом случае кавасаки и кунгасы работают комбинированно с катером.

Забота о совершенствовании колхозного лова сквозит у каждого из активных колхозников. Слушая нас, вступают в разговор с новыми предложениями и

Вот как идет отцелка пойманной иваси

советами другие рыбаки. Ловец Чемраков настаивает на том, чтобы обязательно построили пристань:

— Берег у нас, видите какой, недоступный. Чуть ветерок, и такой накат, что все кунгасы на берег скорей вытягивай, а то унесет и разобьет. Простоя у нас по этой причине было много. А в море, между прочим, работать в эту пору можно. Очень нам пристань нужна.

— Разумеев — старшина кавасаки — ругает кунгасы:

— Это—утюги проклятые, дикарям только на них работать, никакого ветра не выдерживают. Они — плоскодонные, их так кидает с волны на волну, того и гляди рассыплются. Я вот слышал, что эстонцы из Уссурийского залива на вельботах работают. Это—хорошая посуда, надо бы и нам на вельботы перейти.

Разумеев прав. Весной этого года я был в эстонском колхозе «Новый Мир» в бухте Андреева. Это — один из сильных рыбацких колхозов южного Приморья. Эстонцы—отличные рыбаки, смелые моряки. Все они работают на килевых вельботах с кривыми парусами. Хорошие, ходкие суда, отыгрываются в любой шторм. При ветре они идут даже быстрее, чем кавасаки. Во время штормов эстонцы на вельботах не раз спасали и людей и сетки других колхозов. Надо скорей осваивать опыт эстонцев, скорее переходить с «утюгов» на вельботы, с квадратных—на косые паруса. Эстонцы мне рассказывали, что у них даже одна корейская команда и та перешла на вельбот, убедившись в его преимуществах против неуклюжей тяжелой шаланды с корейским квадратным парусом, которая пока еще наиболее распространена, особенно здесь, на севере.

★

На обратном пути в село Каплунова остановил пожилой колхозник. Отвел в сторону и стал что-то тревожно шептать. Каплунов, сгорбившись, слушал.

— Что такое?— спросили мы, когда он догнал нас.

— Беда с Кацеяевым,—опять, сукин сын, пьянствует, дискредитирует совет...

Часом позже мы поближе узнали, что это за Кацеяев. В семье не без урода. С северо-кавказскими рабочими и колхозниками - переселенцами пробрались и авантюристы, беглецы от своего темного прошлого, охотники за длинными рублями. Кацеяев Пашка—смазливый рослый парнюга—один из таких. Он первым сбежал из колхоза «Красный партизан» около Тернея, когда колхозу было туго. Втерся здесь в доверие. Человек он грамотный, а это тут редкость. Избрали его председателем сельсовета. И вдруг Пашка начал безобразничать. Пьянство, драки, шовинистические похабные выходки. Напившись пьяным, он делал обыски в фанзах китайцев-рабочих учлесхоза, требовал взяток деньгами и водкой, грозя арестом. Морозко — член рика, по его распоряжению Кацеяев был немедленно отстранен от работы, передан в руки, кстати приехавшего сегодня следователя. Были назначены выборы нового председателя.

★

В селе нас встретил завучлесхозом Козин. Козин был хмур. Наступило время развертывать во всю лесозаготовки—в октябре в Белембейской тайге надо вырубить 3000 кубометров и 2000 вывезти, 110 лесорубов и возчиков должны быть в лесу—там для них уже все готово. Но сегодня седьмое октября, а в лес ушли только три пары рубщиков — народ еще занят на погрузке лесоэкспорта. Из Джигита перебрасывают японский пароход «Ураджио-мару» за лесом на японский рынок. Колхозники еще не кончили из-за дождей уборку, а из-за шторма — путину.

Лицо старого Козина немного оживилось, когда

Каплунов сказал, что через 3 дня человек 30 колхозников будут готовы итти в лес, а скоро и все остальные. И Козин решил похвастать новой баней для лесорубов и сплавщиков. Баня была, действительно, на славу. Меня только поразил вид котла — огромное яйцевидное произведение, все в широких овальных заклепках.

— Японская мина,—подсказывает Козин. — Поймали ее на нашем берегу не то в 21, не то позже. Все лежала на улице, а теперь вот пригодилась. Тридцать ведер вмещает. Мы вот тут крантик просверлили—и все приспособление...

Вторая мина японского образца тоже служит сейчас мирную службу — для котла она не пригодилась, вырван один бок, поэтому висит посреди улицы, когда надо звонко сзывая белембейцев на колхозный или учлесхозовский сход.

Занятная судьба мин, подброшенных интервентами под революцию!

★

В Белембе некогда скучать: людей мало, а работы невпроворот.

Но есть в Белембе люди, которые очень «скучают» по городу.

На крыльце учлесхозовской конторы сидит Васька Катюн—сплавщик-комсомолец. Я жду у этого крыльца Морозко, который в конторе с Козиным анализирует баланс готовности Белембе к лесозаготовкам. Васька, внимательно разглядывая вполне крепкую подошву большого сапога, жарит частушку за частушкой и между прочим такую:

Што мине не весила,
Две деревни—два села
Выдергаю бороду —
Сошкучился по городу..

— Верно соскучился? — прервал я Катюна.

Он поднимает голову:

— А ты почем знаешь?

— Так ты-ж поешь.

— Дак эта-же — песня.

— А все-таки соскучился?...

Катюн улыбается:

— Есть маненько. Пароходы к нам не заходют, все каки-то китайшкие да японшкие. Они бывают во Владивостоке-то?

— Иногда и бывают. А чего ты соскучился по городу?

— Да николи там не бывал. Сам-то—совгаваньской да кербинской. Ну как Владивосток—поболе Совгавани?

— А я не был в Совгавани. Город, известно, большой...

Катюн встал и подошел ко мне ближе:

— Тебе-то извешно. Ты вот с Морозком приехал, скажи: он ладный заведущий?

— Ничего, душевный человек. А что?

— Хочу в город я у него проситься. Вишь, я бы, как те сказать, чего-то учитси хотел бы. На лесного техника.

Приезжал к нам один молоденький такой, а вот—техник. Мы с им разговаривали. Нашего-то брата учут?

Успокаиваю парня завереньем, что только нашего брата и учат.— Однако куда же сейчас ехать на зиму глядя? Поработай-ка лучше зиму-то в лесу, а летом и поезжай.

— Врешь? Ей-богу? И Морозку нечего ждать? Скажешь? Не забудешь? Да я за зиму, ядрены палки, один целый штабель наворочу — абы учиться. А то ведь я и убегу...

Так в Белембе скучают по городу.

(На обратном пути Козин сказал, что Катюн уже ушел в лес на рубку — бригадиром молодежной бригады. Он оговорил у Козина для себя поездку после первой половины сплава во Владивосток учиться. — Пусть едет,—улыбаясь говорит Козин. — Он к нам же вернется техником.)

★

Морозко, я вижу, повеселел. Погода заметно улучшается. Сегодня утром играет солнце. Тепло. Только в море еще никак не может улечься шторм.

— До самого дна раскачало, — ворчит Морозко. Но солнышку я рад. Пусть оно не заходит за тучи до ноября. Вы, товарищи дорогие Каплунов и Козин, немедленно гоните во всю уборку сена и хлеба. Иначе зарежете. У нас в районе должен быть свой хлеб и сено.

— И мясо, — добавляет Каплунов. — Ребята приехали из долины, говорят появилось много сохатых Сегодня шлю охотников.

7

Путь великой Кемы

Из Белембе нам надо ехать в Сяо-Кему, но снова дороги через перевалы нет. На крутизнах и в долинах от высокой горы Железняк до Кондо есть места, где не было ноги человека.

Шторм немного затих. Поэтому и Каплунов и Козин высказываются про возможность пробраться обычной дорогой—берегом моря под отвесами скал. Решаемся ехать. Быстро седлаем коней—и в дорогу.

Река Белембе от шторма и дождей стала необычайно полноводной. Разливаться в ширь некуда— те-

чет она в узком коридоре гор и леса. Обычно в эту пору лошади берут ее свободно, вода доходит лишь до брюха, но теперь воды было вдвое больше обычного: я встал в седле на колени и все-таки на средине реки вода их подмочила, просочившись в сапоги.

Переплыв реку, лошади вспрыгнули на крутой берег, встряхнулись и легкой рысцой побежали к морю.

Море еще ревело мощью шторма. Был большой накат. Темнозеленая муть воды на горизонте сливалась со свинцовой суровостью восточного края неба.

Вот она началась, эта обычная береговая дорога. Слева—сплошной каменный отвес, справа—разъяренное море, и между гранитом, кварцем, диабазом и бушующей водной стихией идет узкая тропа — галька, песок, груды острой каменной осыпи, которую время от времени закрывают набегающие волны, под самое брюхо коней подбираясь бахромой пены, густой как губка. Местами кони по бабку вязнут в массе длиннолистой темнозеленой морской капусты. От моря несет иодистым, соленым и горьким запахом.

Нас все-таки предупреждали, что путь опасен еще и сегодня, что есть места, где накат бьет прямо в лоб скал, отступая и набегая с новой силой. Однако проскочить можно. Надо ждать, пока отступит разбившаяся волна, и стремительно пробегать вперед—иначе захлестнет.

В первых двух опасных местах маневр удался—лошади проскочили, но в третьем, самом опасном, у двух скал, остро выходивших в море, мы оба застряли. Волны здесь били высоко и сильно. Выждав, пока отступил самый большой, как нам казалось, вал, пришпорив коней, мы бросились вперед, но новый вал нас обогнал и ударил как раз на средине пути, между скал. Наше счастье, что мы успели круто повернуть лошадей мордами к скале и волна с силой ударила в лоша-

диные зады как в волнорезы. Лошади страшно хрипели. Мою лошадь сила волны сбила с передних ног. Я потерял стремена и, обхватив лошадь ногами, крепко вцепился ей в гриву. Волна же, ударившись о скалу, разбилась, опрокинув на наши головы огромный водяной веер. Соленая горечь бросилась в рот, нос и глаза. Прошло мгновенье, или час. Накат отступил, и напуганные лошади без понуканий, силой инстинкта, со всех ног бросились огибать скалу. Отделались мы сравнительно легко, — холодной морской ванной, промокнув до костей.

Три часа отняли у нас десять километров такой обычной береговой дороги. Дальше до самой Сяо-Кемы дорога была сравнительно сносной. Кое-где, километр-полтора, лошади пробегали даже рысью.

На Кондо — неводной промысел Дальгосрыбтреста Стоят невода, которые дали за всю путину 2.400 центнеров иваси. Мало. Этот промысел с большим будущим. Когда-то, в то время, когда мы делали революцию, хищничавшие здесь японцы брали колоссальные уловы. Начиная только осваивать это место, советские рыбаки быть может еще не нащупали линий хода и скопления рыбы.

Места, которые были совершенно пустынны всего пять-шесть лет назад, начинают оживать — здесь растут два рыбацких поселка: корейский ловецкий на участке Муха и основной поселок — с засольным сараем и базой промысла в Кондо. Между старых корейских фанз белеют свежими тесовыми крышами новые домики. Жилья еще не хватает, теснота страшная. В квартире заведующего промыслом Галкина, где мы выливали воду из сапог, выжали портянки и проглотили по чашке чая, живут три семьи. А квартира не бог весть какая — комната и кухня.

В Кондо нас захватила ночь. Темная беззвездная ночь. До Сео-Кемы осталось всего 15 километров,

но дорога была одна. прямая, не опасная; к тому же, как на Кондо хозяева ни радушны, а ночевать, правоже, негде, и потому решили мы этой ночью быть в Сяо-Кеме. Лошадей было достаточно вывести на дорогу— мы опустили поводья и они шагом пошли вперед, не сбиваясь даже тогда, когда надо было переходить маленькие, но бурливые речки или обходить глубокие топи

Кони шагают рядом. В природе — ночное затишье. Только копыта цокают, да фыркают кони, когда хлестнет по морде придорожная ветвь

— Спокойно в долинах, нет двуногих волков-то? — спрашиваю я Морозко.

— Всех выловили, теперь можно спокойно работать. Всего полгода назад я проезжал здесь со взведенным курком.

Качаясь в седле, Морозко рассказывал, в какой обстановке новый район начинал работать и бороться за планы сева, путины и лесоэкспорта. Нынче весной в сопках Кхуцинской долины появилась кулацкая банда, собравшая жалкие остатки разбитого кулачья северного Приморья. Кулацкая банда, руководимая старовером Могильниковым, одним из отъявленных мироедов, рассчитывала использовать недовольство отдельными ошибками в коллективизации, наделанными совгаваньскими «леваками», поднять против советской власти и колхозов «все крестьянство» и создать «крестьянскую власть». Но «крестьянство» обмануло надежды кулацкой сволочи. Приморская беднота слишком хорошо помнила «крестьянскую власть», которая тут однажды уже была властелином: раньше в руках староверов - кулаков были вот эти леса, рыбалки, поселки. Они грабили бедноту и русскую и туземную, особенно охотников удехэйцев, у которых за водку и побрякушки отбирали годовую

пушную добычу. И «крестьянство» — колхозники и честные единоличники долины Кхуцина—вместо того,чтобы поддержать могильниковцев, под руководством коммунистов раздавили банду и взялись за чистку колхозов, куда пролезли кулаки—единомышленники могильниковцев. Самого Могильникова поймали кхуцинские колхозники совсем незадолго до моего приезда в район.

В этой классовой схватке закалились и окрепли колхозы Кхуцинской долины, колхоз «Ударник», откуда было больше всего вычищено кулачья, вредившего колхозу, досрочно выполнил годовой план путины, организованно и без больших потерь убрал хлеб и травы; в Самарге удэхейцы, наиболее угнетаемые кулачьем, числом в тридцать семей организовались в первый туземный колхоз рыбаков и на бурливой реке 1 октября выполнили свой первый план — поймали 620 центнеров ценной рыбы: форели, горбуши, симы. По району больше ста колхозников вступили в партию.

Незаметно, без большого труда, перебрались мы через три перевала. Открылись керосинные огни Сяо-Кемы.

Это село еще зовут Малой Кемой. Оно всего в шести-семи километрах от Великой Кемы. Я вновь вспоминаю Арсеньева. В его бытность здесь в том же 1907 году тут жил только один «хлебопашец»-старовер Иван Бортников. Теперь это—большое, культурное село, почти целиком выросшее за последнее десятилетие, при советской власти.

Здесь — свыше полсотни хозяйств, вторая часть самого большого и самого крепкого колхоза «Сергей Лазо», который первый в районе и во всем Приморьи выполнил план путины этого года.

Ночевать мы остановились в избе заместителя председателя колхоза старика Павла Константинова. Двери

открыла его жена — Анисья Петровна. Только она с ребенком-внучкой была дома. Морозку Петровна узнала и обрадовалась его приезду, как приезду сына.

— Здравствуй, тов. Морозка. Я дома-то, вишь, одна,—нонече у нас на промысле-то новобранцев провожают. Робята-то у нас, комсомольцы, ягодки в Тарней собираются. Там и сам, мой старик, на проводах-то...

Пока Анисья Петровна хлопотала, накрывая на стол, я оглядел избу. Изба—просторная, мазаная и беленая, но запущенная страшно — потолок усеян дохлыми мухами, по стенам, печке, столам и лавкам смело бродят стаи тараканов. И все-таки это уже не старая изба. В углах нет икон, на стене—портреты Ленина, Сталина, несколько ярких красочных батальных картинок, лихоусый Буденный на коне, наконец на умывальнике я вижу зубной порошок, мыло, около окна — полочка с книгами, газетами.

Сняв сапоги и мокрую до последней нитки одежду, мы с Морозко растянулись на теплом полу и крепко заснули.

Проснулись мы с Морозко сразу оба от резких чугунных ударов. В ушах еще гудел след морского прибоя. Я высунул голову за дверь горницы—изба была полна народу: Константинов вернулся, вернулась его замужняя дочь, бригадиры докладывали зампредседателю, как дела со сборами на уборку хлеба.

— Там на увалох-то маленько подсохло, — колыхался старческий голос, — можно поди-ка и машиной взять, чуточку разве ветром-то прибило. Ну, а в долину с серпами пойдем...

— Ладно, дядя Ваня, собирай жнецов поболее,—

басит Константинов,—надо снять поскорея пшеницу. Беспременно...

Дядя Ваня—старый-престарый, но, видать, из стариков с крепким закалом, суетливый, живой.

— С народом-то беда,—на рыбе занятой, а который в селе, так то у него рука болит, а у кого ребенок, кому недосуг. Только шесть женщинов и собралось...

— Кой чорт—недосуг!—вскипает Константинов.—Нету сейчас других недосугов, чем жнитво. Что они—сдурели? Сгноить хлеб хотят, што-ли?

— Ну?...

— Ну вот. Колхоз нахлебников не держит. Ты обойди еще, дядя Ваня, и предупреди, что с лодырями разговор будет крутой.

Увидев, что мы проснулись, Константинов вошел, поздоровался и говорит:

— Машина избаловала, жатка. Молодые так совсем от серпа отбились. А машина после шторма, известно, не берет—сильная у нас пшеница.

— А как дела на промысле?—спрашивает Морозко.

— Так что-же, на промысле — известно — штормовая пора. Невода устояли, все успели подсобрать во время. Тут белембейский катерок у нас отыгрывался, штормовал. Двое суток ребят болтало малях в двух от берега, так мотор все время и жгли. Ладно, что хватило что жечь. А вчера, как маленько стихло, они и тронулись к Тернею.

Так неожиданно мы узнали правду о судьбе белембейского катера. Двое суток старшина Скакленев и моторист Ивановский не смыкали глаз — один у мотора, другой у штурвала,—героически выдержав страшный шторм. Уйти им было некуда—тернейские бере-

га обнажены; можно за все триста миль скрываться только в трех бухтах, и то заходить в них до шторма, — в Тернее, Кхуцине и Светлой. Но этот шторм нагрянул неожиданно, как тайфун...

На свежих, отдохнувших конях мы проехали остальные пять миль до Великой Кемы. Дорога шла по открытому гребню плоскогорья, спускавшегося к морю. Был яркий солнечный день, но море еще не успокоилось. Сверху оно казалось волнующейся грудью чудовища, на берега же шел набегами высокий накат.

★

Реку Кему Константинов всего четыре дня назад верхом проезжал; сегодня это было невозможно. Мы ее переехали на лодках, перегнав лошадей вплавь без седел. Первый этап пути кончился. Мы были в Великой Кеме.

Колхоз «Сергей Лазо», как и большинство тернейских колхозов,—комбинированный: и рыба, и сельское хозяйство, и мед, и охота, и лес.

Богатства здешних мест увлекательны: прекрасные, цветущие долины и плоскогорья, где плодородные земли дают урожай пшеницы до 120 пудов с гектара; море, ценнейшие продукты которого неисчислимы; разнообразнейшая медофлора плоскогорий и горных подошв, дающая за короткий сезон по 5-6 пудов меда на улей; горные реки, удобные для сплава и богатые ценной рыбой; тайга, богатая высокоствольным ценным экспортным лесом и лесным зверьем: кабаном, лосем, кабаргой, рысью, медведем, барсом, белкой, всевозможной дичью.

В глубине Кемской долины, километров за 100 от Великой Кемы, есть место, которое зовут Ясной поля-

ной. Это—Швейцария и Крым вместе. Голубое озеро среди цветущих гор и долин. Снеговые вершины и бархатные луга.

А недра? Они не исследованы ни на один метр, но местами прямо наружу выходит уголь. Его пробовали — прекрасный, горит даже и в печке. Выходит наружу серебряная руда, мышьяк, порфир. Над морем висят открытые террасы мелкозернистого туфа. Непочатый край благодати!

Колхоз один из первых на северном побережьи делом стал решать важнейшую задачу Дальневосточного края: ликвидацию хлебо-фуражного дефицита, что значит — обеспечить себя своим хлебом и фуражом. Здесь эта работа трудней, но значение ее огромней, чем в любом другом месте края. Район растет, вырастают новые и новые поселки лесной и рыбной индустрии. Сейчас в районе уже более 20.000 населения, тогда как всего десяток лет назад здесь на сотни миль были одинокие фанзы корейцев, удэхейцев и кулаков-староверов. Массу нового населения надо прокормить. До сих пор ее кормил или центр страны или хлебные районы Амура и Приморья. Между тем совершенно ясно, что район может сам себя целиком обеспечить хлебом. И он руками колхозников, большевиков берется крепко за решение этой задачи.

Год назад здесь впервые начали сеять в широком масштабе. У «Сергея Лазо» было 240 гектаров. Хлеб уродился на славу. Весной 32 года с помощью единственного дальлесовского трактора, работавшего зиму на вывозке леса, подняли целину и посеяли уже 420 гектаров. И опять хлеба сильные, как говорит Константинов. Верхами мы об'ехали и Великокемскую и Сяокемскую долины. Хлеба действительно хороши—высокий, тяжелый колос, крупноналитое зерно. На по-

лях заканчивалась уборка. Мы уехали далеко вглубь до тазских фанз и тут же наглаз прикинули площади, заросшие орешником и диким сухостоем, после выкорчевки вполне годные для вспашки. Просторы долин, по нашим подсчетам, позволяют уже на будущий год засеять минимально 800 га, как колхозники и решили, а еще через год-два, если будет здесь по второй пятилетке маленькая машинно-тракторная станция,—поднять 2.000 гектаров. Такая же точно картина настоящего и столь же блестящие перспективы и дальше к северу, в Кхуцинской долине.

Как меняется жизнь! У Арсеньева в книжке «Дерсу Узала» эти же самые места от Тернея до Нахтаху выглядят мрачно, мистически, коварно, чародейно, над всем царит неразгаданная сила природы. Прошло четверть века — советское десятилетие — и новые люди, не староверческие лабазники, не чинодралы приморских ведомств, не гнусари-миссионеры, не полицейские зубодробители, а колхозники — новые люди нового Дальнего Востока,—и силу природы «разгадали» и заставили ее работать на социализм. Неузнаваемо оживают одухотворенные новыми сильными людьми коварные эти места. Стояла здесь при Арсеньеве единственная староверческая ловушка - молельня и склад награбленного добра, а теперь раскинулись два больших села с широкими улицами. В этих селах — школы, клубы, красные уголки, кооперативы, полные товаров, колхозные скотные дворы, молочные фермы, пасеки, рыбные промыслы, хлебные культурные посевы и на рейде моря—пароходы, лебедками забирающие в глубокие трюмы экспортный лес...

У ворот правления колхоза в Великой Кеме висит доска с делениями: это—сводка с колхозных фронтов. Сейчас тут ежедневно меняются цифры вылова рыбы и уборки хлеба. Колхоз всего полтора года назад сли-

лся из 3-х колхозов: «Северный приморец», «Первая ласточка» и «Золотой мыс». Сейчас он об'единяет больше 200 хозяйств и шагает передовиком в районе. Доска выглядит так:

Посевной план выполнен на	129 проц.
План сенокоса выполнен на	105 проц.
План рыбной путины выполнен на	108 проц.
План хлебоуборки выполнен на	96 проц.

Мы идем на один из этих фронтов — сейчас самый важный — на рыбалку. Идем через все село к морю. Село живет полной грудью: с'езжаются колхозники из Шомы и Сяо-Кемы,—завтра будет колхозный базар; верхами с добычей трясутся охотники; возвращаются с песнями люди с уборки; идут на бон рабочие учлесхоза — на рейде ревет японский пароход и надо грузить лес...

За первым мысом к северу—одна из рыбалок колхоза. У колхоза два невода и два судна — на активном лове: шаланда и кавасаки. Один из неводов на Мало-Кемском участке выловил ударную цифру — 2.954 центнера. Он и решил путинную победу колхоза. На неводе была сработавшаяся команда, которая бдительно дежурила, во-время брала улов. Активный лов в этом году здесь пробовали впервые и начали его поздно, поэтому и взяли меньше в среднем, чем колхозы южного Приморья и даже Тернейского юга: на кавасаки—300 центнеров и на шаланде—всего 200.

Этот год зато многому научил. У рыбаков колхоза, которые далеко не такие опытные мореходы и рыбаки, как южане, теперь уже есть кое-какой опыт, и на будущую путину они собираются ставить четы-

ре невода и пускать в море на активный лов шесть ловецких кунгасов и кавасаки.

Невод после шторма был проверен, починен и вновь поставлен. У якорей дежурит пара ловцов. Все остальные в бараке. Разговариваем и о рыбе и о рыбаке. Жалобы, как и всюду на северном побережьи, больше всего на бескультурье, на оторванность. Запросы человека растут, безудержно поднимается его общественно-политический интерес ко всему, а удовлетворить страстную жажду знания и некому и нечем. Возмутительно с доставкой почты, газет, литературы. Перед нашим приездом в Кему заходил пароход «Астрахань» с почтой полуторамесячной давности. Барышников — председатель колхоза — 6 октября получил краевую газету «Тихоокеанская Звезда», издающуюся в Хабаровске, за первые сентябрьские дни. Большинство выписанной литературы не приходит вообще. Виноваты и местные работники и партийная ячейка: бедна Кема газетами — так надо было систематически устраивать читки получаемых газет на рыбалках и в поле и беседовать по душам по поводу прочитанного. Мы вот здесь в бараке только помянули об этом, как все горячо ухватились за идею и проявили к ней исключительный интерес. Нет, однако, не только газет, но и радио.

— Вот мы сейчас сидим, — говорит кунгасник-плотник Яков Краснополов, — а мы так очень часто сидим ночь напролет,— ну приспособили бы радио и много бы узнали, что там из Хабаровского, из Владивостока говорят. И новости бы, и песни...

Краснополову не довелось досказать до конца: дежурные с невода пробили тревогу—в неводе рыба. Все бросились из барака в кунгас. Кунгас поплыл к неводной ловушке выбирать улов.

— После шторма начинается обратный ход иваси— с севера. Штормом-то ее подогнало,—говорит Констатинов..

★

Лошади пробираются сквозь густые овсы, протягивая жадные губы то вправо, то влево, беспрестанно жуя. Мы едем в глубь долины, на одну из колхозных пасек. Всего у колхоза 230 ульев — 2 пасеки. Та пасека, на которую мы едем, была пасекой кулака Боярова. Он и сейчас еще живет в Малой Кеме, проявляя себя как резкий «индивидуй».

— Без собственности никак жить не может, — об'ясняет Константинов,—из-за собственности с семьей простился. Сыновья у него вполне ладные ребята. Ушли в 28 году жить сами по себе. Старший-то, Серега, у нас кузнецом работает—ударник, Илья—в Белембе, в учлесхозе. Бравый такой парень, на сцене, говорят,— артист - загляденье, в лесу—бригадир, три раза премирован. Говорят, нынче в партию подал. А вот отец — контра. Индивидуй.

Пасека Сяо-Кемы в чудесном месте — у подножья первых сопок, богатых зеленым убранством. На пасеке затишье — готовятся к зимовке. Встречают нас колхозные пасечники Гаврила Седойкин, Игнат Абрамыч, Родин — пчеловоды,—и старик сторож и их помощник — тоже Родин и тоже Игнат, но Фомич.

У Боярова здесь было 80 ульев, колхоз за год увеличил число ульев до 142. Дождливое лето поздно позволило пчелам пойти на работу. Верба зацвела в конце апреля, а только 26 августа был первый взяток, и в половине сентября пчелы уже кончили работу. Но поработали ударно: дали с улья до двух пудов меда и себя обеспечили. На зиму снабжены хорошо, обой-

дутся без сахара. Ульи отяжелели — это значит поголовье у пчел увеличилось, и колхозники-пчеловоды думают с весны будущего года расширить пасеку до 200 ульев.

Седойкин горячо и со знанием рассказывает про медовые богатства Северного Приморья. Общеизвестно, что Советский Дальний Восток—одно из лучших медоносных мест в мире: тут, как нигде, исключительно разнообразная медофлора. Седойкин и Родин молодой ведут записи всех наблюдений по пасеке. Вот какие медоносные растения они обнаружили в этой долине пчел (помещаю их по времени цветения): верба, клен, яблоня, крушевник, треста, богульник, бархат, липа, борщовик, одуванчик, дудка, будяк, крапива, черемуха, греча. Пятнадцать медоносов! Недаром Тернейский район один из основных медопроизводящих районов Дальневосточного края.

Седойкин показывает богатство колхозных ульев

Пасечники - колхозники —отличные хозяева. Куда тут Боярову—этому «индивидую»! Ульи содержатся в образцовом порядке. Они сами смастерили и очень гордятся комоди-

ком для 400 запасных рамок, где пчелы спасаются от мотыльца; устроили новый, хороший, теплый омшанник для здоровой зимовки пчел, стол для выкачки меда из магазинов. Прямо не кустарная пасека, а колхозный заводик!

Седойкин решил показать мне колхозные ульи. Я натянул на голову сетку,—сам он и Родин молодой без сеток и рукавиц смело открыли улей и подняли первую рамку, чтобы отыскать матку. Рой жужжал тихо, пчелы лениво ползали со сотам, богато наполненным медом, лишь несколько пчел оторвались от рамки и тихо закружились вокруг. Матку, хотя она еще была молодой, удалось найти быстро—она выделялась продолговатостью тельца и суетливостью—быстро сновала она из края в край рамки.

— Хороши семьи,—еще раз утверждает Седойкин,—богатые ульи. Без труда, я думаю, нам удастся расширить пасеку...

Родин-молодой, переставив рамки, тщательно закрывает улей. Родин - старик всех позвал пить чай. Самовар радушно шумел под единственным на пасеке широколапым кедром. На столе стояли чашки, миска, до краев наполненная густым золотистым медом, и коровай белого хлеба. Чая, собственно, не было—здесь отлично обходятся без него, заваривая цвет шиповника, очень приятный на вкус.

Кедр стоял на пригорке, с которого открывался широкий вид на долину, убегающую к морю и в глубь крутых гор. Вон там, налево, за речкой я вижу черные фанзы.

— Чьи это фанзы?

— Тазы живут, — отвечает Седойкин.

Тазы. Я уже не раз слышал об этом народе. В долине реки Сучан весной мне показывали развалины каких-то каменных стен и говорили, что это остатки от

тазских укреплений, что это был когда-то воинственный народ, из первых народов, населявших старый Уссурийский край.

Но все это не верно. Тазы — это в прошлом южно-уссурийские удэхейцы *), ассимилировавшиеся с китайцами до неузнаваемости — они по китайски говорят, носят китайские имена, носят китайские одежды, верят в китайских богов. Сами китайцы их называли «Да-цзы» (русские переделали на «тазы»), что значит — инородцы: ни русские, ни китайцы, ни орочи. Они отнюдь не воинственны, а, наоборот, очень тихие. Живут от долины Сучана до Нахтаху, на побережьи, в маленьких фанзах. Занимаются огородничеством, разведением сои, кукурузы и тайно — мака.

Великокемские фанзы были, как я убедился, типичны и в этом отношении.

Мы заехали в эти фанзы на обратном пути. Встретили нас густым хриплым лаем многочисленные собаки. Из одной фанзочки вышла пожилая тазка, курившая трубку. Сузив щелки глаз, она улыбнулась:

— Ходи отдыхай. Ваша, видать, уставала ошень, товалиш...

Привязав лошадей к маленькому полуразвалившемуся сарайчику, едва скрывающему несколько снопов чумизы и какую-то рваную сбрую, мы вошли в фанзу. Тазка вошла следом и села на теплый кан (дымоход вроде наших печных лежанок, который занимает половину фанзы) рядом с молодой красивой тазкой, игравшей с веселым и крепким годовалым ребенком. На краю кана, поодаль, опустив голову, поджав под себя мослы ног, сидел дряхлый старик с гноящимися и кажется ничего не видящими глазами. Он был высок и страшно худ, длинные кисти ладоней свисали с коленей.

*) Об удэхейцах смотри дальше главу „ тойбище „Красного удэхейца"

— Это фанза Максима?—спросил Константинов.

— Максима, Максима, Бао-ин Максима, — ответила быстро молодая...

— Сам-то где? Мак косит, что-ли?—улыбнулся Константинов.

Молодая нахмурилась:

— Нет никакой мак, товалиш. Максим колхоз ходи.

— В колхоз?

— Колхоз, колхоз. Мак ошень худо, товалиш.

— Верно, — кивает Константинов и об'ясняет мне в чем дело.

Максим, как и все тазы прибрежья, главным образом занимался тайным макосейством, исчезая на целые месяцы в горы, где на десятках отдельных, хорошо спрятанных природой кусках земли сеяли, обрабатывали и убирали мак. Не раз шли разговоры с тазами о том, чтобы они ушли в колхоз. В колхозе прекрасно вместе с русскими работают семьи китайцев, корейцев. Здешние тазы — полеводы, они кропотливо могут работать над овощами и грибами. Но макосеи чурались колхоза, пока что предпочитая заработки на тайном промысле честной и здоровой жизни. Максима — мужа молодой тазки — недавно колхозники поймали в горах за обмолотом, нашли у него два мешка яда—спийного мака. Хотели его судить, но ограничились пока тем, что на людях напозорили, настыдили...

Константинов говорил, молодая тазка хмуро смотрела поверх лба ребенка, притихшего у ее обнаженной груди, а старуха утвердительно кивала головой, не выпуская изо рта трубки. Потом заговорила:

— Максим больно худа было, туда-сюда ходи. Сенни утра ей ковори: моя хочу ходи колхоз. Колхоз ходи.

— Колхоз восьмут? — вдруг подняла блеснувшие бусами черные глаза жена Максима.

Константинов пожал плечами:

— Что мужики скажут. Очень уж он опаскудился, твой Максим. Ну да простят, я думаю, несознательность. Это его сын?...

— Эта доська-а, — улыбается мать, — Тося зовут, Тося... пус, пус, пус, Тося... Ребенок, которого мать, приподняв рубашку, поцеловала в живот, звонко засмеялся...

— А тебе-то сколько лет?—спрашиваю я молодую тазку.

— Тиринатцать, — отвечает за нее старуха...

— Ну-у... тиринатцать?.. Ситиринатцать, — сердито поправляет молодая, — тиринатцать было старым кодам.. Этим кодам ситиринатцать...

Старик продолжал сидеть неподвижно, глядя вниз.

— Отец-то скоро конец будет? — кивнул на него Константинов.

—Это не отеза, — отвечала старуха, — эта чужая отеза. Шел-шел оттуда (она показала на горы), тут падал, наша его помогал подняться, пускай мало-мало живи, не помирай пока...

Я осматривал фанзу. На кане было чисто. Слева, в углу—еще одна печка, повыше кана, на которой стояла закоптелая медная посуда. В одной из посудин сушился мелко нарубленный табак. Стены в этом углу, как и проруб окна, были заклеены бог весть откуда попавшими сюда китайскими газетами с об'явлениями о корсетах, ресторанах и кино. На стене над каном висели крест-накрест два ружья, широкоствольных, старинных. В правом углу—берестяные ящики и ворох меховой одежды. Пол фанзы — гладкая земля. Вот и все. Старуха была босая, на молодой—тряпичные туфли, такие же она шила для Тоси, недошитые они валялись подле нее на кане. Одета старуха в глухой и длинный маньчжурский халат, застегнутый у правого плеча. Черные, как смоль, волосы туго закру-

чены сзади. Пальцы старухины — тонкие, длинные, желтые как чубук трубки, который она обвила ими. Трудно сразу узнать что чубук, а что пальцы. На молодой—одна старенькая легкая юбка и кофточка, приподнятая с одной стороны. Она давила тугую грудь, сочилось молоко, к которому жадно припадала Тося.

Кругом фанзы виднелось маленькое поле, засеянное чумизой, кукурузой, соей, картошкой. Поодаль, глубже в долину,—еще три-четыре таких же фанзы, которые, наверное, как и эта, скоро сольются с колхозом.

Константинов наклонился над кастрюлей с табаком скрутить папироску, как вдруг с моря протяжнов взыл гудок.

— Пароход!.. Верно, пароход...—встрепенулся Константинов.—Скорей надо ехать. Ах, беда! Надо же, чтобы нашу готовую рыбу забрали.

Попрощавшись с семьей Максима, мы вскочили в седла и во весь дух пустились к селу, к морю...

На рейде, против Великой Кемы действительно стоял пароход. Даже название можно было прочесть. Это был «Монгол»—пароход внесахалинского рейса, зашедший по пути с Камчатки. Рыбу колхоза он взять согласился, и на берегу шла горячая подготовка к погрузке — из сарая катили десятки бочек иваси нынешнего улова, которые, пройдя через Владивостокский порт, пойдут быть может в рабочий Магнитогорск, Свердловск, Сталинск...

На погрузке работами руководил сам Барышников председатель колхоза.

★

Барышников—совсем молодой парень, его нынче в числе десятигодников колхозники провожают в Красную армию. Над губой—легкий пух двадцати двух лет, но когда он говорит, над переносицей собираются за-

думчивые складки. Он живет с матерью здесь, в Великой Кеме, но его видят и чувствуют в каждом уголке широко раскинувшегося колхоза. Старик Константинов, когда у нас с ним зашла речь о Барышникове, дал меткую характеристику этому парню:

— У него широкий глаз: много видит и мозговитый. Выбирали когда его, то оглядывались, молодой ведь очень. Скажите на милость, колхоз-то наш вон какой... Но теперь вот, веришь-ли, жалко отпускать парня даже в армию, очень нам необходимый человек, спросите каждого. Любим мы его за прямоту и понятие, каждого, поймет. Бо-о-евой...

Вот мы сидим после удачной погрузки рыбы в правлении колхоза. Уходя в армию, Барышников не демобилизуется из колхоза. Другие ребята бродят по соседям из дома в дом с настроением «прощайте—уезжаю», а он, Барышников, все минуты дня и доброй половину ночи отдает разбору будничных колхозных дел. Рассказывая секретарю райкома о колхозе, глядя ему в глаза, он машинально выводит на газете, постланной на стол, цифру «1933», «1933»...

—Ты чего это,—смеется Морозко,—чертишь? Когда из армии вернешься что-ли?..

— Я? Нет, это первый год второй пятилетки, товарищ Морозко, когда нам дозарезу трактор будет нужен... Этот трактор я во сне вижу... Ты понимаешь... (и он лезет в ящик стола, откуда бережно извлекает истертую папку). Вот... Я думаю, что наш колхоз первую пятилетку выполнил в четыре года. Мы, как только «ТОЗ» получили, так сразу включились в об'явленный поход во вторую пятилетку и, как видишь, что пообещали, то сделали. Так я вместе с нашим активом составил вторую пятилетку колхоза. Вот она у меня.

Мы берем и смотрим этот документ высокого политического роста этой окраины, исторически отста-

лого края, сила которого так крепнет в советские годы на наших глазах.

Что же колхоз «Сергей Лазо» намечает во второй пятилетке?

Во-первых—**рыба.** Колхозники хотят, а значит так и будет, иметь три рыболовных участка, 15 единиц на активном лове. Если будет катер, то хотят смастерить кошельковый невод, иметь 5 ставных неводов на селедку и 5—на иваси. Улов намечают—18000 центнеров, причем 12000 уже в будущем году. Намечают построить удобную пристань, а также новый засольный сарай.

Во-вторых—**хлеб.** Намечают 2000 га посева, овладение землей путем мелиорации, раскорчевку целины. Решили индустриализировать все сельскохозяйственные процессы—завести 5 тракторов, 1 грузовик, 4 молотилки, 2 стогометателя, 6 сноповязалок. 10 картофелекопателей; довести путем севооборота и удобрений урожайность на всех землях до 120 пудов с гектара.

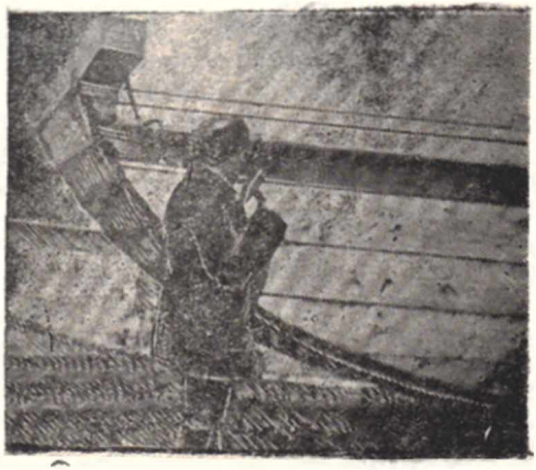
В-третьих—**мясо, масло, пушнина.** Хотят иметь 700 голов скота (сейчас 120), 100 свиней, 2000 кур, 2000 гусей, 1000 уток, 1000 кроликов, сеять 330 гектаров кормовых трав, снимать сена с 1000 га. Организовать в Ясной Поляне охотничье село. Задача охотников—заготовлять каждый год на 12000 рублей пушнины, на 11000 рублей—мяса.

В-четвертых—улучшение в быту колхозников. Намечается постройка дома на 10 семей и двух домов на 25 семей для новых колхозников и для тех, кто живет в плохих избенках. Баня-прачечная, столовая, ясли, больница, общежитие с клубом.

Улучшить, высоко поднять жизненный уровень колхозника, его доход в колхозе, сделать каждого колхозника зажиточным и целиком подвести продовольственную базу под развитие в районе лесоэкспорта и

рыбной индустрии—таково стремление второй колхозной пятилетки. Она не выдумка комсомольца Барышникова, а сгусток коллективной мысли, логический результат коллективной борьбы за отличные темпы первой пятилетки в колхозных бригадах в поле, на рыбалках, в лесу. Здесь выковалась уверенность в большие силы организованного коллектива. Мы убедились, что цифры наметок—это строгий расчет сил, возможностей, средств.

Колхозники, кончив путину и уборку, собираясь на лесозаготовки в Ясной Поляне, обсудили свою вторую пятилетку. Каждый говорил о ней, как о будущем своего собственного дома, и за укрепление своей социалистической собственности брался каждый на том участке, где он сильнее всего и всего полезней колхозу. Яков Краснополов, например, через несколько дней принес Барышникову уже разработанный им самим очень интересный проект нового засольного сарая. Он нехитро нарисован, не на кальке чертежной, а на такой простой бумаге, какая нашлась тут, в северно-



Краснополов осматривает новый кунгас, готовый к оснастке

приморском колхозе, за четыреста миль от Владивостока, и в пояснении к проекту — множество ошибок: Яков пишет «чепов», «вышына», «шырина», «аршын», но он ведь не кончал строительной и плановой академии, его «университеты» известно какие: пинки, батрачество, фронт империалистический и гражданский и наконец новая школа — колхозная жизнь...

*

Коллективное хозяйство и здесь, на дальнем Приморьи, доказало в короткие сроки свои преимущества.

Эпоха цай-дунов и староверов — китайских и русских кулаков, старых хозяев долин, — вела к разорению туземные племена и препятствовала правильной, культурной колонизации края и эксплоатации его богатств. Цай-дуны и староверы-кулаки, захватывая долины, строились помещичьими хуторами, об'являя своей собственностью огромные территории. Тогдашнее управление краем, девизом которого была частная собственность, не препятствовало разбойничьей политике своих колонизаторов. И поэтому за все царское существование края по Приморью от самого поста Ольги до Николаевска не было ни одного более или менее крупного села, население не увеличивалось, зато многие долины были охвачены фанзами цай-дунов или староверов — хозяев хищных хуторов, подобно Пинясовскому в Широкой пади. Эксплоатируемая, обманутая, запуганная масса туземных обитателей этих мест, особенно удэхейцев, отступала все глубже и глубже в девственные заросли лесов, подальше от моря, где заселялись эксплоататоры.

В. К. Арсеньев во время своих путешествий не раз встречал цай-дунов и староверов. Относясь со справедливым негодованием к позорной роли и делам первых, он однако не разоблачал такую же гнусную

работу русских цай-дунов. Наоборот, местами он прямо таки идеализировал староверов. Вот, например, что писал он про староверов на реке Амгу, что немного севернее Великой Кемы: «Старообрядческая деревня состояла из 18 дворов. Это народ богатый. Особенно много у них было коней и рогатого скота. Я насчитал 82 лошади и 84 коровы. К чести старообрядцев нужно сказать, что, придя на Амгу, они не стали притеснять туземцев, а, наоборот, помогли им и начали учить земледелию и скотоводству». Не стоит благодарности! От их помощи уже в 1908 году, по свидетельству И. С. Патина, охотника, с того года поселившегося близ Амгу, на десятки миль вокруг не было уже ни одного удэхейца. Он же рассказывал мне, как «помогали» удэхейцам этакие добренькие староверы. Когда у них был Арсеньев, на Амгу действительно была еще одна удэхейская семья

Староверы за тридцать соболей продали удэхейцам корову и в долг за столько же соболей дали лошадь. Когда после неудачной зимней охоты удэхеец принес к сроку только двенадцать соболей, староверы учинили суд и порешили по испытанному исправничьему методу свести со двора и лошадь и корову. Недаром еще и посейчас в удэхейских стойбищах на Самарге и Единке, куда докочевали удэхейцы с Амгу, Такемы, Кхуцина, с ужасом вспоминают русских людей с красными бородами. Это — длиннобородые амгинские кулаки. Эти же амгинские «добряки», к слову сказать, были самыми первыми из первых в банде Могильникова, озверело выступавшей против колхозов и советов на Побережьи.

Наш край в революции на целых пять лет отстал от прочих краев страны. А до этих мест революция докатилась еще лишь через добрые пять лет. Зато докатилась не голой весточкой, а с людьми—новыми

поселенцами. Быстро стали вырастать села, деревни, появились первые рыбацкие, охотничьи артели, кооперативы, школы и, наконец, первый колхоз—«Золотой мыс», который богато разросся до теперешнего колхоза им. Сергея Лазо.

В жизни этого колхоза новое, социалистическое не только в плановости, в учете труда и потребления, в заботе о будущем, но еще и в том, что впервые дружной, действительно единой семьей, спаянной одной идеей, счастливо живут и русские, и китайцы, и корейцы, и удэхейцы.

Растут крепкие колхозные села. В них вырастают новые люди. Такие, как Барышников. С ясным стремлением, с твердостью взглядов, с верой в силу организованного коллектива. Честные люди.

Есть колхоз и на Амгу. Название его—«Огни». Село Амгу—большое. Староверы в нем еще есть. Были они и в колхозе. Приспособились. Но летом их вражескую тактику раскусили и из колхоза вышибли. Может быть еще не всех? Они хитры, эти краснобородые. Чтобы напакостить колхозу, даже заветных бород не жалеют—бреются. Но вражий запах колхозники в «Огнях» должны учуять, узнать кулачье и без бороды.

8

В стойбищах „Красного удэхейца“

С Иванько—инструктором рыбаксоюза—мы встретились в Самарге, на северной окраине Тернейского района.

Вместе с Иванько удалась интересная поездка в верховья рек Самарги и Единки, в первый колхоз удэ-

хейцев, рыбаков и охотников, последних кочевых обитателей лесных дебрей края.

Романтической судьбой этого маленького народа многие исследователи края интересовались с давних пор.

Что это за народ? Насколько он самостоятелен? Где его корни и древние ли они? В мнениях на этот счет было много противоречий. И ни один из исследователей края—от академика Л. Шренка до В. К. Арсеньева—не дал на это более или менее точного ответа.

Известно, что В. К. Арсеньев четверть века работал над капитальным трудом «Страна Удэхэ», но умер, не закончив его. Повидимому, записи, которые легли в основу этого труда, частично были им использованы в отдельных работах, увидевших свет, в частности в брошюре «Лесные люди», изданной в 1928 году во

В фанзе на Самарге

Владивостоке. Но и тут В. К. Арсеньев неясно толкует происхождение этого, как ему казалось, таинственного лесного народа. В одном из своих последних писем к Е. И. Титову он еще задает вопрос—«Что это за народ удэхе»?

Свое происхождение сами удэхейцы передают легендой, суть которой такова: жили на земле двое людей—брат и сестра. Брат женился на сестре, сам не зная того. Она его обманула. А вышло это так: когда он пошел по лесу искать себе жену, она забежала окольной тропой вперед и встретилась ему совсем голой.

— Ты моя сестра?

— Нет,—отвечала она.

Брат вернулся обратно — сестра уже дома. Рассказал он ей про встречу.

— Что ж, — говорит она, — женщины все одна на одну похожи. Иди и бери ее в жены.

Повторилось, что было. Поженились. Родились у них мальчик и девочка. Подросли. Мальчик однажды, играя, ранил стрелой вещую птицу Кау, или ворона, от которого пошло на земле все живое. Эта птица вдруг заговорила с мальчиком и рассказала ему правду о его рождении. Сын рассказал отцу. Отец убил свою сестру-жену, детей бросил в лесу, а сам утопился. Девочку подобрал Мафа—медведь, лесной старик—и стал с ней жить. Мальчика подобрала тигрица и стала с ним жить. У медведя пошли дети. Это, мол, и были удэхейцы — дети лесного старика. От второго сожительства детей не было.

С той поры и стали кау (ворон), мафа (медведь) и амба (тигр) тотемными животными. Если последних двух и убивали, то с непременными церемониями, с шаманской пляской.

Уже сама по себе эта легенда позволяет судить о том, что это за народ. Культ медведя — лесного ста-

рика — мне приходилось наблюдать у тунгусов енисейского и обдорского севера, в Восточной Сибири и на Урале. Как сейчас помню, в 1926 году в одном из тунгусских стойбищ на берегу Иртыша я был свидетелем медвежьего праздника. Тунгусы со всего стойбища собрались вокруг, охотника, убившего медведя, окружали шаманы. На охотнике была медвежья маска. Старый шаман, тоже в медвежьей маске, начинал свою пляску с лукавой песни: «Лесной старик, не сердись на нас, детей твоих. Это не Торга Аваньки (имя охотника) убил тебя, а убил страшный чорт, твой и наш враг», и т. д. Женщин на этой церемонии не было.

И вот здесь, за девять тысяч километров, в тайге Приморья, точно таким же образом обставлено почитание медведя. Арсеньев приводит почти такую же шаманскую песню.

Точно так же эта церемония с медведем обставлена и у амурских гольдов. Был во Владивостоке такой «профессор» Лопатин. Он в 25 году удрал за границу к своим капиталистическим единомышленникам. Будучи одним из теоретиков колонизаторской политики самодержавия, Лопатин в своей книге «Гольды», изданной в 22 г., предлагал всех гольдов перевести в православие. Только более «культурными», как он выражался, способами, чем это было до той поры. Ученый ханжа православие считал одной из главных мер оздоровления быта гольдов, которые, попав в первую линию наступления царских колонизаторов, подвергались еще более уничтожающему истреблению чем удэхейцы. Этого не мог залакировать даже сам Лопатин. Но я отвлекаюсь. В данном случае лопатинская книга представляет интерес тем, что там также есть записи о культе медведя у гольдов и кратко передана почти такая же, как у иртышских тунгусов, шаманская песня.

Удэхейцы несомненно являются одной из ветвей южно-тунгусской семьи народа эвен, так же как и другие, близкие им по языку и быту племена — орочи, гольды, тазы. Разница лишь в том, что одни в большей степени, чем другие, подпали под влияние китайцев.

Это единство племен по быту и языку утверждали такие крупные исследователи, как «Колумб сибирской этнографии» Л. Шренк, Брайлевский, Пальчевский и другие. Подтвердил это в предисловии к своему словарю «Языков орочей» и проф. П. Шмидт, знакомый Владивостоку видный лингвист.

Тазы до того скитались, что сейчас зовут себя исключительно китайскими именами, переняв от китайцев множество бытовых черт. А орочи и удэхейцы попрежнему дают имена, взятые из окружающей об-

Дети лесов и тундры

становки (например, Чикту — медный, Дело—хромой, Чаба—береза и т. д.), с названием рода вместо фамилии (например, Чикту Копинка, Дело Единка, и т. д.), причем название рода отмечается названием той местности, реки, пади, где род живет. Характерно, что то же самое встречается у тунгусов Иртыша, Оби, Енисея.

Знание языка является одним из очень важных ключей к познанию всякого народа. В. К. Арсеньев этим ключом, к сожалению, не владел. Зная неплохо разговорный язык удэхейцев, он не знал языка эвенок-тунгусов. Тунгусов он вообще не встречал. Понятно поэтому, что, встретив в девственных дебрях тайги лесных кочевников-охотников, которые сами так романтически об'ясняют свое происхождение, поклоняясь медведю —лесному старику, обожествляя его, людей непохожих ни по быту, ни по нравам, ни по языку на всех, кого он до тех пор встречал в Уссурийском крае, литератор-исследователь самостоятельно вошел в душу этого лесного народа, изучая его как совершенно своеобразный осколок какого-то древнепришедшего в край народа. Отсюда и вся таинственность, которой окружены удэхейцы.

Между тем нет ничего мудреного и невероятного в том, что удэхе и орочи родственны живущим за тысячу километров тунгусам Иртыша, Оби, Енисея. В словаре орочей, составленном Шмидтом, 69 слов имеют даже соответствующие турецкие корни, причем не менее половины их относится к первичным понятиям.

История помнит монголо-маньчжурское государство ючей (чжурчженей) в X—XIII веках. Это, как уже многими учеными доказано, было государство тунгусских племен, имевших даже свою письменность, в основу которой легла китайская иероглифистика (иеро-

глиф был использован как способ начертания ючских слов). Но царство чжурчженей распалось под ударами новых сил, главным образом полчищ Чингиз-хана, и разбитые племена были оттеснены на юго-восток и северо-восток. И удэхе, орочи, гольды, тазы не те ли это осколки царства чжурчженей? Это очень похоже на правду. Шмидт, например, находит в ючских словах даже об'яснение самоназвания удэхейцев, считая, что оно соответствует ючскому слову «У-ди-е», что значит — тайга.

*

Увлекательна и романтична судьба этих племен. Но еще более она ужасна. Уйдя от преследования сильных завоевателей, позднее они попали в хищные лапы первых колонизаторов края—китайцев цай-дунов и русских торговцев, кулаков, проводников православия, водки, голода и сифилиса.

Теснимые пришлыми силами, очень миролюбивые и спокойные удэхейцы уходили все дальше и дальше в горы Сихотэ-Алиньского хребта, укрываясь в девственных лесах рек Самарги, Хора, Копи, Бикина, Имана, где они встречаются и до сих пор.

Чем дальше они оттеснялись к северу, тем их было все меньше. Вымирание удэхейцев, как и гольдов на Амуре, было прямо катастрофичным. Сами удэхейцы, с той же Самарги, еще и теперь говорят, что их юрт в тайге было раньше так много, что пока белые лебеди летели от реки Копи до залива Ольги от дыма удэхейских костров они становились черными. Теперь же во всем крае удэхейцев меньше 1500 человек. «Лесные люди» — удэхе стали так же редки, как корни жень-шеня.

Отчего так быстро вымирал этот народ? От страшных болезней—оспы, кори, трахомы и туберку-

леза, которые занесли сюда царские «цивилизаторы» —скупщики пушнины, кулаки-переселенцы, цайдуны. Эти болезни нашли плодовитую почву среди крайней бедности и простоты нравов, когда-то совершенно здорового народа. Постоянные кочевки, вызванные притеснением со стороны царских администраторов и эксплоататоров-спекулянтов, обман и открытый грабеж китайскими цай-дунами и русскими кулаками-сектантами вконец разорили народ. Ураган оспы за несколько суток целые стойбища превращал в могилы. Слепые семьи охотников, где были все больны трахомой, бродили в дебрях, не встречая никого, и гибли голодными. Целые стойбища чахли, медленно угасая от туберкулеза.

Зная об этом, чиновники ведомств Уссурийского края ничего не сделали, чтобы остановить это убийство. Среди них не нашлось героев, которые бы, надев повязки Красного креста, двинулись в таежные дебри с медицинским отрядом на помощь затравленному, ограбленному и зараженному всевозможными болезнями народу. Все примирились с тем, что народ удэхе обречен на вымирание, так, мол, этому и быть.

Когда Иванько рассказывал свои впечатления о первом удэхейском колхозе, вспомнилась судьба чувашского народа, который царизмом так же, как народ удэхе, был обречен на вымирание. Очеркисты «Синего журнала»—открыватели сенсаций — писали очерки под заголовком «У народа, уходящего на тот свет», и т. д. Рождаемость в Чувашии была ниже смертности. Из ста родившихся 28 умирали на первом году жизни. Теперь же всем известно, что в Советской Чувашии ежегодный естественный прирост населения не менее 2 процентов. Детская смертность снизилась до 14-15 на 100 рождений.

Вспомнилась Чувашия потому, что то же самое удалось установить в отношении народа удэхе. Героическими мерами медицинских отрядов, работающих в тайге с первых лет советской власти в союзе с интегралами — туземными кооперативами, удалось приостановить вымирание: оспа и трахома побеждены окончательно, сейчас идет бой с туберкулезом.

Раньше всего выбивается социальная база этих болезней—скученность, бескультурье, отсутствие гигиены; больные изолируются в открывшихся больницах; удэхейцы, не евшие раньше ничего вареным, у которых сырая и сушеная рыба была основной пищей, отчего свирепствовали также болезни желудка, стали впервые в своей истории есть хорошо проваренное мясо с солью, печеный хлеб, сеять овощи, пить молоко, кой-где жить не в дымных юртах, а в рубленых хатах с очагом.

В колхоз «Красный удэхеец» мы поехали втроем: Иванько, я и молодой удэхеец Коминхо—первый комсомолец с реки Единки, не плохо говоривший по русски. Коминхо ехал из Хабаровска, где он был деле-

Женское собрание в колхозе

гатом на с'езд интегралсоюза. Это—характерный тип удэхейца с Единки и Самарги: худощавый, с маленькими ногами и руками, прямые и черные, как смоль волосы, овальное, немного желтоватое лицо с остро выходящими скулами, широко расставленные темно-карие глаза, монгольские веки, толстогубый и большой рот, нос плоский и широкий.

Одет он был, как и Иванько, в простенький грубый костюм—пиджак и брюки в маленькую клетку, на голове—кожаная новая фуражка, купленная в Хабаровске, на ногах только были унты—лосиные меховые сапоги. Второй год, говорит Коминхо, он носит бязевое белье, моется в бане, выстроенной на стойбище Хулими. Раньше удэхейцы никогда не мылись, и купались в реке лишь тогда, когда от грязи тело покрывалось волдырями.

Коминхо ничем внешне и в быту уже не отличается от наших знакомых—рыбака корейца Ким Сен-дина, китайца грузчика с Эгершельда Лю Шоу-цзу. Мы ожидали еще увидеть удэхейцев, похожих на воинов монгольского средневековья, каких я видел в книжке Арсеньева. Ведь тогда, во времена Арсеньева, одежда удэхейцев была красочно-пестрой: одевались хэйги — узкие штаны, поверх них унты и амуки — наколенники, тэги—маньчжурский халат, застегивавшийся справа почти под мышкой, адахты—нарукавники, полту—белое головное покрывало, похожее на капюшон, и сверх покрывала надевалась богдо—маленькая шапочка, узкая кверху, где был прикреплен соболий или беличий хвостик. Костюм украшался вычурной вышивкой, был увешан ракушками, медяшками и т. д. Он не менялся, пока не становилось больше дыр чем целого места.

Мы едем гуськом, друг за другом, тесным берегом Единки. Такая она узкая река, что белка ее не переплывает, а перепрыгивает по широким и длинным ла-

пам кедра. Кедрач крепкий и высокий, со спелыми ореховыми шишками, стоит по берегам, сплетая ветви над рекой, словно держась за руки в хороводе. Но воды Единки быстры, как горный ветер. На крутых поворотах они вылетают грохочущие, разбрасывая вокруг веер брызг. Вот на таких быстринах, за излучинами удэхейцы и ловят форель, симу, горбушу...

— Наш колхоз будет 30 семей,—говорит Коминхо,—разная семья: есть три души, четыре, шесть. По трем стойбищам на двух речках живем. Речка эта вот — Единка, тама вот (и он машет рукой через тайгу направо)—Самагра. Стойбища наши—Бугу, Хулими, Кукса. Сильно старые стойбища, родовые. Близко—соседком живем. За день все об'едешь. Хулими—главная стойбища будет. Хулими—интеграл, Хулими—школа интернат, Хулими—доктор, Хулими—наш колхоз...

Лошади идут все время шагом. До Хулими 70 километров—путь с утра до вечера. Дорога, как и любая тернейская, идет через сопки, каменную осыпь, топи, речки.

Тайга приморской осенью хороша. Листья кустарников, желтея, хрустят, словно вслух жалея убегающее лето. С орешника спадают посеревшими каштанами никому тут ненужные вкусные плоды, дубы поводят лапками твердой листвы, вьется поджарый лимонник и дикий виноград, иглы хвои стали сухими и колкими, прилегли высокие и жирные травы. Тайга не молчит. Я не ощутил на всем пути ее тишины даже тогда, когда мы стояли, ослабив усталые мускулы, и лошади целиком отдавались воде, тихо и сладострастно цедя ее сквозь зубы. Из тайги все время доносится хруст, шорохи, разноладное пенье птиц. Мы едем через места, богатые зверем и птицей: тут в травах, по колоднику валежнику, тихо поводя ушками и хвостом, бегает

осторожный соболь; глубоко вбирая воздух, пробирается лисица; карежит дубняк лесной старик - медведь; зарывается в густые ветви хищная рысь; на полянах токают фазаны и изредка обходит это царство настороженный, сытый и ленивый осенний тигр—такой же беглец в тайгу и долины Сихотэ-Алиня, как и удэхейцы. Раньше тут тигров не было, а вот два года назад, в конец зимы, русские пришлые охотники двух убили и двух тигровых котят забрали живьем, поймав в одеяла. Охотничали за тиграми и большие охотники—удэхейцы.

На обед мы расположились на прибрежной поляне. Единка тут перед крутым заворотом была тиха. Дорога дальше шла напрямик к первому стойбищу «Крас-

В тайгу приходили из Бикина русские – охотники на тигров

ного удэхейца» через крутой перевал. Лошадям надо было отдохнуть. Стреножив, мы пустили их в травы. Пока мы с Иванько возились у костра с чаем, Коминхо с ружьем ушел в тайгу, и через какой-нибудь миг с горы ударился и отпрянул выстрел. Коминхо быстро вернулся, притащив фазана. Жирная осенняя птица сделала наш обед веселым. Мы отложили, не открывая, порядочно надоевшие ивасевые консервы — постоянное блюдо приморских путешественников.

— Тут близко,—сказал Коминхо, общипывая фазана,—стоит первая наша зверовая фанза. Я ее сейчас видел. Скоро, товарищи, начнется охота. Энку, будто, пошлет удачу...

Коминхо, сказав это, улыбнулся всем лицом, хитро прищурив узенькие глаза.

— Энку кто будет? Хозяин зверя Энку. Но ты, бывай добрый, не гляди-ка так. Уж я и другие многие в Энку верят меньше будто, чем в хороший припас. Интеграл-то привез новые ружья—говорят советские, где-то есть такая Тулу (я ответил насчет Тулы). Ая, ая* Ладно бьют-то. Припасов хватит. Катали Намихта** много есть, хлеба много есть, соли много есть, а мясо-то будет. Будет, будто-бы, и удача...

— Раньше схотились-то в одиночку, каждый про себя, только с Энку... Уходил наш людя на всю зиму в зверовую фанзу. Ну, бывает, придет в тайгу, покормит деревянного Энку кашей с салом, попросит у него удачи, разбросает ему кашу по тайге и ловит зверя—больше соболя. Дальше-то своего места не уходит. Худо было охотнику одному. Нонче еще перед моим поездком-то говорим—давай, охотники, соболевать вместе, будто это лучше. Пособолюем...

---

*) Хорошо.

**) Юкола—вяленая и сушеная сима и горбуша

— Пора-бы и дальше тронуться,—вскочил вздремнувший после фазаньего супа Иванько.—Засветло попадем, Коминхо?

— А почему-то не попадем? Попадем. Еще Цзали Бянгяны (Большая Медведица) на небе не сядет, как попадем в Хулими...

Отдохнувшие лошади легко взяли перевал. Мы спустились в широкую, сплошь кедровую долину. Меж кедров блудила узкая тропа. Как собака из под ног, снова выскочил поток Единки, которая за десятки километров огибает перевал. Так долиной мы ехали часа два.

Запахло дымом. Послышался лай. Мычанье. Говор. Вот и первые юрты.

— Это Бугу, — показал Иванько, — первое ихнее стойбище.

Завидев нас, с громким лаем набросились стаей лохматые собаки. Из юрт и балаганов, крытых берестой и лохмотьями, показались люди. Мужчины, женщины, ребятишки. Почти все с длинными чубуками маленьких маньчжурских трубок в зубах

— Здрастувай, — крикнул по русски Коминхо.

— Здрастувай,—по одиночке ответили все.

— У-У, Коминхо Единка, васа адиана! (погоди немного!)

Коминхо остановился. От одной из юрт бежал такой же молодой парень, как и Коминхо. Он радостно хохотал, подбежав трепал Коминхо за колени. Коминхо быстро говорил по удэхейски, тоже не скрывая своей радости.

— Товарищ мой, Каяса (орел) Бугунка, комсомол-то его весной принимали,—кивнул он нам так, словно мы давно знали этого парня из стойбища Бугу.

Стали затем по одиночке подходить остальные, пожимая руку всем нам, мужчины и женщины. Юрты

вокруг были еще старые, дымные. За каждой высятся на свайках маленькие амбарушки. Стоят кругом длинные жерди—вешала, через них переброшена связанная по двое юкола. Жиром отсвечивает серебристая сима, золотистая горбуша. На берегу речки лежат перевернутые лодки, оморочки. Юрты открыты, занавеси каю флаги—углами подняты вверх. Колхозники выглядели здоровыми. Одеты они были по-разному: узкие штаны и суконные брюки, рубахи косоворотки и маньчжурские халаты, кожаные сапоги и унты с задранными вверх носками, волосы, стриженные коротко вверх и туго косами прикрученные сзади у стариков. Ребятишки черноголовые, быстроглазые стояли своей кучкой поодаль.

Не понимая слов, чувствовалось, что колхозники просят, чтобы мы переночевали у них. Говорят—ночь застанет в конце пути. Ночи теперь уже темные—тропа узка. Оставайтесь, ночуйте! Коминхо передает об этом. Решаем все же ехать до Хулими, обещая переночевать на обратном пути. Улыбаясь, кивают головами.

— Ейни ая,—говорят они.—Очень хорошо!

Провожаемые собаками и ребятишками мы тронулись дальше, в Хулими.

Ночь наступает сейчас, почти мгновенно. Солнце падает за сопки. Небо становится синим с бордовым отсветом и еще через минуту—густая тьма. Выступают бисером звезды, рассыпая к северу млечный путь

Это наступление тьмы нас захватило, когда Хулими была на виду, и лошади, вздрагивая от холодной и быстрой воды, шагали через Единку, подкатившую им по грудь.

Вот и Хулими. Большое стойбище, как маленькая, беспорядочно разбросанная, сибирская деревенька. Тьма мешает судить о стойбище больше, но вспыхнувшие

огни говорят об окнах, а окна—не о юртах, а о рубленых избах.

Лошадей Коминхо остановил у небольшой избенки.

— Что здесь?

— Интеграл будто здесь. Давай слезавай, тут дадут ночевку-то...

Навстречу нам вышел человек с лампой. Русский. Без вопроса ведет в избу. Изба двойная—половина лавка, половина жилье. Поднимает лампу—смотрит:

— А-а, Иванько! Здорово, друг...

— Здорово, Сергеич. Принимай нас двух—это товарищ из Хабаровска...

— Места хватит нам и еще на двух. Э, да это ты, Коминхо! Жив-здоров? Беги-ка живчиком домой, отец то и дело заходил, все узнавал, когда приедешь...»

Коминхо, пожав крепко руки, пообещав прийти рано утром, ушел.

— Рано мы ложимся,—говорит Сергеич, зав. интегралом,—бережем керосин, мало его нам нынче завезли, жду-не дождусь. Мои-то уж спят.

На кровати и на печи были «мои»: насвистывали носы ребятишек, громко дышала жена Сергеича. Нас он провел в крохотную конторку при торговой половине—здесь будем спать и мы. На маленьком столе, покрытом синей бумагой, лежали счеты, воронка чернилки, подколотые бумажки и стоял радиорепродуктор, провод тянулся в угол, где я увидел приемник.

— Радио?

— Радио... Ничего, и ваш Хабаровск иногда слышим. Колхозники наши так пристрастились, что вечером вот настрою на РВ-15, открываю окно—орет на всю тайгу, го-го-го... Тесно тут видите. Вот собираемся строить культбазу, там будет эта штука в комнате, в большой...

Разослав пальто и плащи, мешки—в головы, мы расселись на полу и засиделись до полуночи, пока не отощала лампа. Сергеич—пожилой человек, партизанивший на побережье в годы, когда надо было драться с интервентами, его знают и любят все туземцы района. Он рассказал много новостей: колхоз живет крепко, здоровой жизнью, на-редкость дружной была первая коллективная кампания—путина, рыба шла вверх с моря хорошо—колхозом успели взять в четыре раза больше, чем брали в одиночку, выполнили первый план в 620 центнеров (3600 пудов) форели, симы, горбуши. Это будет продано государству, а кроме того богато обеспечили и себя на зиму юколой.

Колхоз растет—стало 34 семьи, а всего тут около 50. Сергеич говорит, что до войны еще было больше ста—скосила оспа, трахома, туберкулез.

Стало шестеро комсомольцев—целая ячейка.

Приехал учитель в школу—свой парень—удэхеец из техникума народов Севера.

В стойбище забрел летом большой медведь—убили. Был по этому поводу праздник—шаманы подбили праздновать, противятся колхозу. Приезжал Сыгда-Самани (крепкий шаман), старый Амба Кас Куксайка. Было после медвежьего праздника собрание колхоза. Ругались очень, спохватились, что упустили много рыбы из-за шаманов.

В школе—полный комплект—30 ребят, причем многих желающих еще не приняли.

На стойбищах осталось всего пять шаманов. Двое уже просили нынче принять в колхоз. Отказали им.

Выстроили засольный сарай.

Вот какие новости в стойбищах «Красного удэхейца».

...Сергеич ушел. Лампа погасла. Сквозь маленькое окошко звезды глядят. Тихо-тихо кругом. Засыпаем...

И вот снова утро. Первое среди народа удэхе. В окна пробивалось холодное осеннее солнце. Глянул в окно—далеко в горы уходила таежная тропа. По бокам ее виднелось несколько десятков старых фанз, юрт и четыре таких же маленьких бревенчатых домика как интеграл. На одном болтался белый флаг с красным крестом—это медпункт, на среднем красный флаг—это совет и над третьим высились две радиомачты. Повидимому это и была школа-интернат—дом из двух смежных срубов.

В лавке работал Сергеич. Ходики-часы показывали семь. Трое удэхейцев разговаривали с заведующим на языке из удэхейских и ломаных русских слов. Это были колхозники, кончившие рыбный лов и уже собирающиеся в тайгу, в зверовые фанзы. Сергеич отбирал для них порох, дробь, масло, сахар, соль, ватные теплушки и штаны.

Пришел Коминхо со стариком отцом. Этот старик Кункули и был председатель первого колхоза «Красный удэхеец». Как и сын, он был одет в грубый суконный пиджак, надетый на вязаную фуфайку, брюки, заправленные в лосиные унты,—мехом внутрь. Только черные волосы Кункули были длинные, туго переплетенные шнурками в косы, закрученные сзади. Он был без шапки. Неровные зубы крепко держали трубку, выдавалась вперед едва заметная горбинка широкого носа.

Старик Кункули давно славился как смелый охотник и рассудительный старшина рода. Его зовут почетным именем Мафа. Он уже был однажды в советском большом городе Хабаровске, знал русский язык свободно, хорошо помнил Арсеньева, встречаясь с ним на старых стойбищах его рода в Анюе.

Когда инструктор Бикинского рика приезжал организовывать колхоз, старик Кункули первый с сыном

пришел в колхоз и на собрании стойбища (было это ранней весной, когда люди возвратились с соболевания) он выступил страстно. Сергеич передавал мне своими словами речь Кункули.

Старик говорил:

— Люди эго сегени Единка (люди рода Единки), —говорил Кункули, — вот приехал человек от советской власти. Он говорит, что теперь уж на всей земле, где советская власть, ладно будто живется. Люди наш кругом бедный были, всякий начальник, цан-дун воровали их добро. Советская власть убили таких будто. Советская власть — это будет, когда народ себе сам хозяин. Это справедливо. Вы помните, люди Единки, был я, старик Кункули, в Хабаровском стойбище. видел там большого председателя. Хороший, будто, председатель говорил, что советская власть будет и наш народ делать, чтобы лучше жилось. Верно, вижу, сказал такой председатель. Чего раньше наш народ видел? Разве што Арсеньев-капитана, солдат да цай-дуна. Теперь вон-ка советская власть-то доктора дала, у нас нынче нету-ка черной болезни, школу дала—дети там живут, учатся работать, интеграл дала, интеграл-то всем хорошим охотникам и рыбакам хлеб и припасы вдоволь дает. Люди Единки, этот человек с Бикина—русский, но и русские справедливые есть. Советует он нам собраться вместе хозяйствовать, так, будто, еще лучше будет — власть нам помогает, мы ей, вместе все дадим больше рыбы, зверя. Колхоз,—говорит нам этот человек,—будет колхоз. Я, старик Кункули, иду в колхоз, идет и Коминхо, мой сын—крепкие руки. Пускай будет ваша воля правильной.

Люди Единки поняли слова Кункули, и инструктор увез в Бикин первый список 18 колхозников «Красного удэхейца». Потом он опять приехал с русским, кото-

рого знали люди удэхе и который знал их. Избрали тогда Кункули председателем, а русского—секретарем.

В укладе жизни этого народа были и раньше черты первобытного, родового коммунизма. Как и у гиляков, у народа удэхе были даже никем не порицаемые случаи группового брака. Добыча зверя и рыбы, хотя и не делилась поровну, но принцип взаимопомощи главенствовал. Колхоз ввел организованность, стремление лучше распределять силы, больше взять добычи, ввел счет труду и потреблению. И разбудил кроме того совершенно новое чувство. Все постепенно поняли, что они, лесные люди, не одни на земле, а есть большая советская страна, большой советский народ, равноправной частью которого являются они, удэхейцы. Весь народ помнит и заботится о них. Эту заботу они видели уже и в лавке интеграла, и в школе, и в иоде, и в порошке медпункта, и в поездке Коминхо в большой Хабаровск. Инстинктом они поняли, что совершился какой-то счастливый для них переворот.

Этот переворот почувствовался с тех пор, когда в тайге появились новые, советские, русские люди, которые, во-первых, избавили бедный народ от вечной кулацкой кабалы. Китайцы цай-дуны неотступно следовали за кочевьями лесных людей и беспощадно драли дань мехами и рыбой. Почти все удэхейцы, рыбаки и охотники, находились в полном рабстве этих цай-дунов, торговцев китайцев и русских. Пауки высасывали из доверчивого и честного народа все добываемые им богатства. Забиралось за жалкие крохи боеприпасов и муки все, кроме вонючей юколы для прокорма семей.

Система сводить счеты с цай-дуном была ужасна. Примерно: если удэхеец был должен цай-дуну восемь соболей, но имел к сроку только три, цай-дун их брал, однако не в счет долга, а как проценты. Но охотнику еще нужны припасы—чумиза, масло. Что-ж, цай-дун

дает, насчитывая к долгу новые соболя. Так долг никогда не покрывался.

Избавление от этой вечной кабалы, первое появление туземной кооперации, заботливых, а не хищных русских, не врагов, а братьев, удэхеец Гунгэ Сикакта, учившийся в техникуме народов Севера, отметил песней, которую в стойбище многие знают. Она очень коротка. Она записана под диктовку Коминхо, который распевал ее, с трудом подыскивая русские слова, закрыв глаза и раскачиваясь вперед и назад. Он пел:

— Наши люди, лесные братья, охотники и ловцы рыб, сыновья лесного старика, хорошо очень могли добывать себе и роду всему пищу и одежду.

— Нашему счастью лежал, загораживая путь, очень злой и сильный цай-дун, ненасытный мешок и страшные зубы.

— Не старик нам на помощь пришел, а люди русский, какой-то другой, чем тот, который был как цай-дун.

— Этот люди не имел длинных волос ниже губ, но был русский.

— Он пришел добрый как большое солнце летом, и принес винтовку, разрывной пулей согназ цай-дуна.

— Больше нет цай-дуна, — есть добрый интеграл от советского управительства, и наши люди, лесные братья, хорошо очень могут добывать себе и всему колхозу пищу и одежду.

— Верьте мне, — я, как и Мафа, был в самом большом стойбище советского управительства. Я знаю про такую же судьбу всех цай-дунов. Пускай они помрут, как овод зимой. И пускай жизнь расцветет, как рога изюбря.

★

Однажды втроем с Кункули и Коминхо мы обошли стойбище — все дома и фанзы. Мужчин было еще мало. Кункули говорит, что далеко не все еще вернулись с низовьев Самарги, где проходил основной лов рыбы.

Там поймали 450 центнеров. Остальные 170 центнеров взяли здесь, в верховьях, причем тут работали старики, женщины и ребятишки.

Рыболовы удэхейцы, как и охотники, замечательные. Бить острогой рыбу на быстринах реки, находясь в маленькой лодке-оморочке, это едва ли кто сможет кроме удэхейцев! Меткость прямо поразительная. Промахов почти нет. Но основной лов идет все же сетками. Лов горбуши и кеты, поднимающейся осенью вверх по речкам для нереста (икрометания), идет коротким неводом, похожим на русский речной невод. Этот невод длиной 3-4 сажени и с ним работают 4-5 человек. Двое спускают невод, трое тянут его за бичевки к берегу. Кунжу и симу ловят сеткой, загораживающей речку поперек, прикрепленной жердями. Рыба, встречая сетку, как иваси, попадает в ячеи головой, зажабривается. Лов такой сеткой однако мал. Много рыбы уходит, разрывая жабры. Форель ловят на крючок и сплавной сеткой для быстрин, где выслеживаются стайки этой быстрой рыбки.

Нынче был удачный ход рыбы и его не прозевали. Поэтому и улов был во много раз больше, чем в прошлые годы. Рыбу сдавали интегралу за точный расчет, за хорошую плату, за товары. Не висела больше ни над кем страшная петля кулацкой кабалы, и кроме того каждая семья колхоза была обеспечена достаточным запасом хорошей юколы, производству которой помогли солнечные и ветреные дни.

Сейчас пойманную в верховьях рыбу, оставшуюся после сушки юколы и засоленную, женщины промывали в маленьком свежепостроенном бревенчатом сарае на берегу Единки.

Кункули, говоря о результатах лова, не без гордости сообщает, что получил «бумагу»—письменную благодарность от интегралсоюза за то, что, выполнив план,

колхозники обеспечили рыбой один из больших заводов страны на весь год. Так напыщенно значилось в этой «бумаге»!

Не все это могли понять сразу. Раньше за русскими такого благородства не случалось. Они работали— им платят деньги, их премируют товаром да еще благодарят.

Мы стоим у засольного сарайчика, где женщины проворно перекладывают слоями рыбу, промывая ее в чистой воде.

Показывая приветствие — бумажку (он ее, свернутую трубочкой, хранит в кармане), Кункули неожиданно спросил:

— А что такое будет эта завода?

— Завод—это большой такой каменный дом, где много людей, рабочих, на машинах, станках вот такой металл (показываю на ствол ружья) вот это ружье делают, делают множество предметов, которые ты, товарищ Кункули, видел в городе: вот поезд, железная машина (стало, кажется, понятно, что такое машина), на котором ты ехал в Хабаровск из Бикина, кровать, на которой ты спал...

Впервые ответ на простой вопрос показался труднейшим. Кажется Кункули чуть-чуть понял. Вдруг осенило. Вспомнилось, что в походной сумке есть какие-то журналы и в том числе «СССР на стройке», посвященный Урало-Кузбассу. Пришлось сбегать в интеграл и затем догнать удивленных Кункули и Коминхо, потрясая журналом.

— Вот завод, тут очень хорошо видно,—показывал я прекрасные фотографии.

Пересмотрев все дважды, Кункули улыбнулся уголками глаз:

— Эвон, какая завода! Много теперь понял. Ты вот, бывай добрый, давай-ка это. Пускай все посмотрят завода. Ух, какой! Ух, какой!

Посмотрели, конечно, все. Этот старый журнал, там во Владивостоке, где я его купил, показавшийся обычным, ибо мы давно уже привыкли к тому, что должно потрясать, здесь несомненно сыграл динамитную роль.

Мы наблюдали эту силу, когда Кункули всем показывал журнал, сопровождая показ своими пояснениями. Стало видно новые глаза этих людей, которые всегда были сдержанными и бесстрастными, чему приучили их века лишений. Казалось, что из этих глаз бьет новый внутренний свет небывалых чувств.

Так с журналом в руках Кункули и обходил жилища.

Мы были в старых и новых фанзах, нынче обитых нежной голубоватой берестой. Это были фанзы китайского типа с теплыми канами—глинобитными длинными печками-лежанками. Внутри фанз было чисто. На полу каждой настлана сухая трава.

Первое достоинство фанзы перед юртой, в которых живут тунгусы Оби, Иртыша, Енисея и в которых жили удэхейцы, это то, что фанза теплая (хотя удэхейцы, как и тунгусы, не боятся холода, охотники даже зимние ночи во время поисков зверя проводят в лесах, прикурнув где-нибудь одним боком к пригорку) и в фанзе, кроме того, нет дыма от костра. Кан тут на одном конце, у стены; имется очаг, где варится пища и печется хлеб. Стены фанзы увешены шкурами медведей, рыси, лося кабарги, кое-где висят дробовики, берданы, в одной из фанз я заметил старый винчестер. На кане в головах стоят пестери—берестяные сундучки; там—белье, одежда; около очага—начищенные медные чайники и чугунные котлы. В четырех фанзах из

десяти я видел умывальники—подвешенные чайники—и мыло—обмыленные куски простого ядрового мыла.

В фанзе Лагулы Куксая — бригадира рыбаков, только вчера вернувшегося с Самарги, — мы угодили к обеду. Отказаться от обеда было нельзя,—оскорбишь гостеприимство хозяев, тем более, что приглашению я был рад: мне хотелось посмотреть и попробовать обычный обед колхозной семьи.

Известно было, что раньше сухая юкола была единственной постоянной пищей, лишь иногда в пору охоты было мясо и совсем никогда не было печеного хлеба. Если случалась мука, из нее в золе пекли пресные лепешки. Гостя, как рассказывал еще Арсеньев, угощали обязательным лакомым блюдом «Сяйни». Лакомство это делалось так: две женщины жевали одна юколу, другая—ягоды, сплевывая жвачку в одну чашку. Нажуют предостаточно—размешают, обливая все рыбьим жиром. Вот и готово—гостю не жевать, знай только глотай. «Сяйни» запретил врач, и его послушались. Итак, этого «лакомого» угощения теперь уже нет. Сохранилось еще другое, вполне здоровое, лакомство: костный мозг зверя (медведя, лося, кабарги, кабана) и печень. Мозг едят сырым, высасывая из костей. Печенку режут на мелкие куски и, смешивая с луком и травой сурепицей или черемшей, тоже едят сырой. Лакомством считаются и головные хрящи кеты в сыром и вареном виде.

У бригадира Лагулы семья из шести душ, что само собой свидетельствует о переломе к лучшему: раньше не было таких больших семей. В его семье—сам, жена, старик отец и трое детей. Недавно родившийся ребенок—девочка—спала в плетенке на кану. Мальчик 7 лет и девочка 9 лет учатся в интернате. Есть у Лагулы еще сын—14 лет. Он в Николаевском на Амуре техникуме народов севера.

Лагуле—38 лет. Он опытный рыбак и выносливый охотник. На своих лыжах с собаками он обошел тайгу на многие десятки миль вокруг, знает каждую падь, каждую сопку как свою фанзу. Под его руководством был нынче такой удачный лов. А теперь в зиму колхоз посылает его бригадиром охотников.

Жена Лагулы, маленькая Куанка, одета в пестрое платье из разных полосок материала, на ногах—унты, на голове—полотенце, которым подвязаны большие волосы, в ушах — огромные серебряные кольца-серьги—дорогая, видать старая, покупка у одного из заезжавших купцов.

Куанка недавно встала с постели. Родила она без Лагулы в больнице. Там теперь проходят все роды. С появлением врача, после первых счастливых родов в больнице, как-то сам по себе умер старый обычай—считать рожениц нечистыми. Ведь раньше—зимой ли, летом-ли—роженицу не оставляли даже в общей юрте. Метров за сотню вырывали ямку и делали над ней особую конуру, куда клали роженицу дней за 5 до родов. Ее не навещал даже муж. Новорожденного находила старшая женщина в роде и летом омывала его в холодном роднике, зимой прямо в снегу, заворачивая мальчика в шкуру медведя, девочку — в мех сохатого. Лишь через десять су

Лагула с женой сидит за букварем

ток мать с ребенком пускали в общую юрту. Немудрено, что раньше из ста детей до одного года умирало сорок-сорок пять. Теперь, по данным медпункта, процент резко пал—до 17-20. Немудрено, что сейчас еще из 27 женщин стойбища только четыре старше 30 лет. Рано выходя замуж, лет с 12-14, удэхейская женщина в силу разрушительных социально-бытовых условий очень быстро расставалась с жизнью. Большинство смертей—в результате родов.

Изменилось положение женщины в семье. Вот сейчас Куанка, поставив на кан хлеб, уху из головных хрящей горбуши, кашу из пшена с салом и чашку ягод брусники, сама села к пище. И Лагула к ней обращается, как и к нам. Раньше это было невозможно. Делом женщины было хозяйство фанзы, ребятишки, шитье одежды. Она держалась поодаль от родовых дел. То же самое и по положению в семье—отдельно от мужчин ела, не участвовала в праздниках, когда убивали медведя, и т. д. Но не то теперь. Женщине открыт доступ даже к общественным делам. Две женщины работают—одна членом совета, другая в правлении колхоза. Большую роль в этой перемене сыграло появление в стойбище русских женщин — жен интегральцев и работниц медпункта, их равноправное положение в семье. Однако главным образом эти коренные перемены в родовом быту об'ясняются тем, что шаманы—единственные поборники старых родовых устоев — сильно дискредитировали себя в борьбе с элементами нового—с советом и колхозом.

Коминхо мне рассказал, что когда Кункули произнес известную речь за колхоз, его посетил сыгда-самани и стращал карами Окзо—страшного духа. Шаманы ожесточенно спекулировали страшным духом, пугая колхозников грядущими неудачами на лове и на охоте с тем, что вновь налетит оспа—черная бо-

лезнь. На глазах всего стойбища они падали замертво и, очнувшись, рассказывали про страшные вещие сны.

Четверо колхозников заколебались, ушли из колхоза. Стойбище разбилось на два лагеря. Но шаманы оскандалились как только начался лов. Лов был богаче, чем всегда, смертей не было, женщины рожали крепких ребят без помощи бога Эндури, на канах не исчезал хлеб, соль, рыба, мясо и лук, кисеты были полны табаком. Именно после конца лова в колхоз вернулись ушедшие и к старику председателю Кункули пришли проситься в колхоз... два шамана—Янлинке и Амбауцзы (сын лисицы). Амбауцзы отказался от бубна, публично об'явив об этом, и пошел рабочим на лов, но в колхоз его все-таки не приняли. Важно то, что сейчас на шамана смотрят уже не как на посредника между людьми и богами, а как на тунеядца, лодыря, зловредного и жалкого человека.

Шаманы, действительно, за редким исключением, ловкие шарлатаны, даже сами не верящие в свои прорицания. И лишь немногие из них—глубоко несчастные, обреченные, больные люди, психостеники, с пчелой под шапкой, глубоко убежденные в своем сношении с духами. Раньше почти в каждой семье был человек, который мог «мало-мало самани», не считая, так сказать, профессионалов. Теперь же на все 50 семей удэхейцев Самарги и Единки—пять шаманов, из которых два вот отказались от шаманства. К шаману, когда в семье больной, еще идут, но очень редко, и чтоб соседи не знали, а идут все больше и больше в медпункт.

Шаманизм отмирает оттого, что исчезает и то религиозное мировоззрение, вокруг которого шаманство зародилось. Удэхеец раньше во всем видел только власть и силу над собой. Он населил существами, созданными своим суеверием, и тайгу, и реки, и огонь. Так был соз-

дан «добрый» Энку—начальник всех зверей и птиц, потом заботливый Гениха—хозяин рыб, который будто бы заставляет касаток*) загонять рыбу в реки, «сердитый» Какзаму—дух гор, горбатый чорт Боко и другие. Больше всего было богов злых, страшных.

Стал нужен посредник, поверенный духов.

Эта «честь» и пала на людей экзальтированных, наиболее потрясенных одиноким зимним существованием в тайге. Шамана чтили, шаману жилось как русскому попу в старину. Тогда это положение стали ловко использовать наиболее хитрые и ленивые.

На Хулими я уже только у фанзы шамана видел севохи медведя и лисицы** и только в двух фанзах—деревянные изображения духов.

Мало по малу вера в себя, в силу организованности коллектива сменяет веру, созданную страхами, предрассудками от дикой таежной жизни.

★

В фанзе Лагулы мы с Коминхо были весь этот день. Лагула сам по русски об'ясняется плохо. Помогал Коминхо. Старик Кункули ушел в совет. Куанка, прибравшись, пошла к коровам—колхоз имеет первые четыре коровы, молоко передается в интернат. для ребятишек. Куанка была первой скотницей колхоза.

Лагула рассказал много интересного об охоте. Охотники удэхейцы из всех туземных народов Дальнего Востока—самые ловкие и сильные. Они отлично зна-

---

*) Касатка также считается тотемным животным. Зовут ее „тему", считают, что ее боятся все морские обитатели.

**) Севохи—изображение тотемных, священных животных, так же как чуруинги у первобытных австралийских племен.

ют тайгу и повадки каждого зверя. Удэхеец так меток, что острогой бьет плавающих птиц и рыбу на большой глубине; белку, прячущуюся в ветвях кедрача, он бьет дробинкою в нос, чтоб не испортить шкурку. Он знает каждый след любого зверя и может безошибочно определить, когда и какой зверь шел, большой или малый, когда и где, наконец, найдет его охотник.

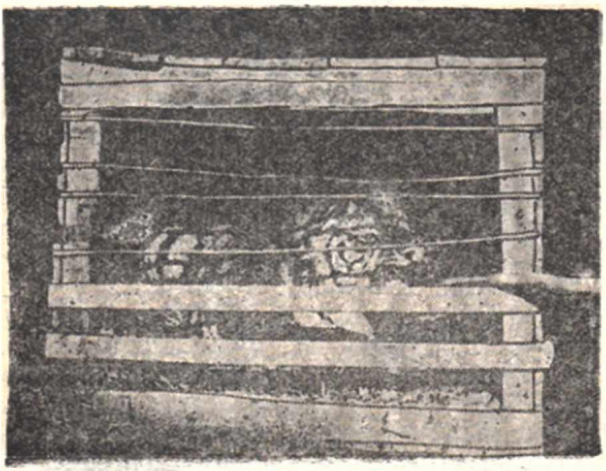
Ночная охота на сохатого в летнюю пору—это своеобразный шедевр бесстрашия. Лагула прошлым летом со старшим сыном охотились на лося. Охота эта происходит на реке, куда забирается лось, снедаемый тучами ужасной своими укусами таежной мошки. От мошкары лось погружается в воду, оставляя на поверхности лишь ноздри, глаза и огромные лопасти ушей. Но мошкара не отстает от лося и здесь, облепляет глаза, ноздри, забирается в уши. Несчастный зверь трясет головой, хлопает по воде ушами, отчаянно фыркая.

В это время неслышно подбираются к лосю охотники. Легкая лодка скользит беззвучно. Ночь темна. Только млечный путь, как след лыж, отсвечивает на зеркале вод. Вот зверь совсем близко. Можно даже в темноте различить быстрые взмахи его огромных ушей. Слышно, как разбрызгивается вода от его мечущейся воспаленной морды, весь он трепетно бьется. Вдруг огонь выстрела, как молния, прорезает тьму. Зверь испускает храп и бросается на берег. Он хочет бежать, но ноги отказываются служить. Он со стоном грохается всем туловищем на гальку. Лось побежден.

На лося охотятся кроме того в начале зимы, когда выпадает глубокий снег, и ранней весной, когда после первых теплых дней снег покрывается острой ледяной коркой, образуя, так называемый, наст. На

лыжах, с собаками, охотники легко догоняют лося, длинные ноги которого вязнут в глубоком снегу или проваливаются сквозь режущую корку наста.

Охота на изюбря, пятнистого пантового оленя, который изредка еще попадается в этих местах, происходит чаще всего летом, в период брачного гона. Гордые изюбри самцы в это время собирают вокруг себя как можно больший гарем самок и ревниво их оберегают. Стоит услышать рев другого рогача, ревнивый самец бежит на этот рев, чтобы броситься в бой. Охотники обманывают ревнивцев, издавая рев изюбря с помощью простой деревянной трубы. Самец бежит на рев трубы с ответным яростным ревом готовности принять вызов и всегда падает от пули или рогатины,



Тигр с Самарги попал в хитрую, самодельную клетку В Московском зоологическом саду его ждет другая.

с которой удэхейцы еще нередко охотятся даже на кабана и медведя.

Лагула побеждал и тигров. Тигр зимой в поисках пищи подходит близко к жилью. В прошлую зиму около Хулими появилась целая семья с тремя тигрятами. Это Лагула определил по следам. Собралось тогда семеро охотников и началась погоня. Четверо суток охотники, не смыкая глаз, носились за тиграми по сопкам. На утро пятого дня тигров увидели под скалой одной из сопок.

—Мы смотрели сверху,—говорит Лагула, — высота была сажен десять. Ветер дул хороший с сопки—зверь нас не чуял. Тигрица лежала с тигрятами — они спали. Сам хозяин бродил вокруг, временами высоко поднимая морду. Это был зверь среднего размера, аршин около двух в длину. Надо убить сначала хозяина — решили мы. Разделись. Четверо остались на скале, трое осторожно, без шума стали спускаться вниз. У всех были берданки и несколько разрывных пуль. Я сам пошел вниз. Ждем. Вот сверху сразу грянули четыре выстрела. Тигр рванулся вверх, но все четыре пули попали крепко: он мешком осел и больше уже не встал. Тигрица вскочила, яростно рыча, лизнула голову самца, залитую кровью, и, еще не видя, но учуяв нас, бросилась в нашу сторону, а за ней и тигрята. Мы тогда поднялись. Тигрица сначала отпрянула назад, извиваясь, готовясь к прыжку, потом сделала подряд два сильных прыжка. В упор ее встретили три наши пули. Она упала, катаясь и царапая камни. Над ней беспомощно скаля зубы, крутились тигрята. Они были совсем молодые, мы их взяли живыми. Интеграл увез тигрят в город.

Основной вид охоты колхозников—это соболевание, охота на соболя, требующая не столько силы и мет-

кости, сколько выносливости, ловкости, отличного знания характера этого маленького ценного зверька. Тут уж ружья в ход не идут. Зверька берут в ловушки и капканы. Самая распространенная ловушка очень проста. Это—искусно подвешенное бревно. Оно падает, когда соболь пробегает под ним, налетая на незаметно протянутую веревочку. Соболь любит бегать по валежнику. Охотники это знают и даже нарочно наваливают в тайге множество деревьев, над которыми и устраивается эта бесхитростная ловушка. Кроме того на соболиных тропах ставятся волосяные петли.

Это способы лова без участия охотника. Но очень часто сам охотник гоняется за соболем с сеткой, иногда без передышки пробегая десятки километров. Охотник бежит за соболем, пока зверек не заскочит в какое нибудь дупло, норку. Вплотную к дуплу или норке охотник ставит сетку и начинает выкуривать зверька. Соболь от дыма выскакивает из норки прямо в сетку. Если надо, его берут живьем, но чаще всего тут же убивают деревянной колотушкой.

Соболь запутался в сетку.

★

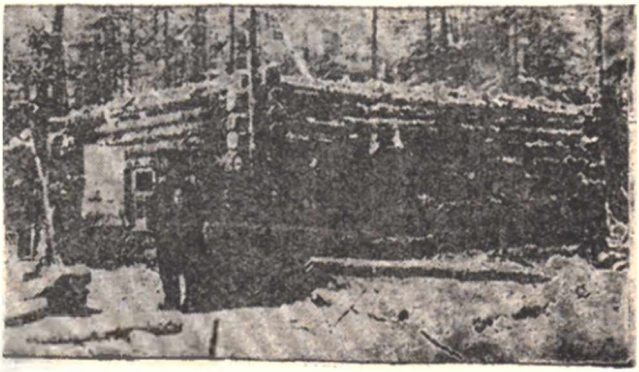
Прожили мы с Иванько в колхозе «Красный удэхеец» как раз дни сборов на охоту, на зимовку в зверовых фан-

ровых фанзах. Когда с низовой Самарги вернулись люди, бывшие на лове рыбы, состоялось собрание колхоза. Собрание это было необычайным. Это был скромный колхозный праздник.

В здании школы, которое внутри было такое же круглобревенчатое, как и снаружи, собралось до ста душ—мужчины, женщины, подростки. Школьные низкие дощатые столы были составлены кряду, образуя большой ровный четырехугольник. На этом столе, ничем не покрытом, стояли котлы «малиновки»—отличной браги, сделанной женщинами, грудки свежей юколы, хлеб, лук, брусника. Сергеич принес банку монпансье, которое кучами разложил по столу.

Дело было в полдень.

Собрались дружно. Стоял неугомонный говор. Самаргинцы рассказывали новости. Им много необычайного довелось увидеть нынче на побережьи. Они впервые увидели большие пароходы, катера, аэроп-



Охотничья бригада около зверовой фанзы.

ланы, долетавшие до тех мест в разведке косяков рыбы, видели многих новых людей.

Кункули был торженственно молчалив. Голова старика председателя повязана цветистым платком. Он сидел рядом с секретарем колхоза русским Семеновым, который разбирался в бумагах. Деловодство идет пока на русском языке. Предполагается лишь с будущего года перевести все, в том числе и преподавание в школе, на удэхейский язык. Письменность удэхейцев теперь уже создана, и в Ленинграде печатаются первые книги и буквари*)

Наконец председатель заговорил. Все курили трубки. Окна были открыты, и дым потоком полз на улицу. Кункули говорил недолго, передав слово Лагуле. Бригадир должен был отчитаться перед всеми за путину. Лагула мягко и тихо начал свой рассказ. Рассказав уже известное читателю, он начал излагать суть новой задачи—поймать и убить за наступающую зиму так же много зверя, как было поймано рыбы. Для этого он предлагал не рассыпаться по тайге в одиночку, как встарь, а разбиться на шесть бригад по 5 человек и разбить известные всем угодья на пять участков. Он обосновал необходимость этого так:

—Один человек—это худо. Вы знаете, что весной много охотников в фанзе находили мертвыми, никто не знал об этом. Мало-ли что не случается в тайге. Кроме того, он мог добывать только соболя, он один боялся большого зверя—медведя, сохатого, тигра, рыси, кабана. А пятерым никакой зверь не страшен. Наша тайга богата. Будем брать у ней больше, чтобы счастливей всем нам жить. Мы уйдем в зверовые фан-

*) Эту работу проделал институт народов севера. Когда я вернулся в Хабаровск в начале 33 года, стало известно, что эти буквари уже готовы и скоро будут двинуты в удэхейские стойбища.

зы. Зимой ко дню тигра (1 января) соберемся вместе на отдых и потом разойдемся снова. Интеграл к той поре привезет из Бикина новые припасы и товары*).

— Согласны ли мужчины на это?—спросил Кункули.

Минута молчания. Шипят трубки. Один из стариков наконец вынимает изо рта трубку. Сплевывая, он говорит:

—Повидимому богу Эндури то, что мы делаем, уже не кажется нечистым. Мы многое забыли, что делали отцы, но худа я не чувствую. Да будет наша общая воля священна. Пойдем давай.

Все вынули трубки и подняли их вверх чубуками. Этим голосованием решался вопрос.

Тогда Кункули взял эмалированную кружку (такие кружки, завезенные интегралом, были у всех постоянно привязаны к поясу, как нож и трубка), зачерпнул браги, отхлебнул, потом поднял кружку и сказал:

—Пусть нас ждет удача. Припасов у нас достаточно, силки будут готовы, нарты починены, собаки сыты, юколы много...

Как это было непохоже на сборы охотников в недавние годы! Раньше за несколько дней до от'езда на охоту стойбища целиком занимались моленьем. Сутками напролет шаманы неистово ходатайствовали у Эндури и Онку удачной охоты. Во всех юртах громыхали бубны и выли человеческие голоса...

От'езда охотников на охоту я не дождался. Еще не было снега. Он выпал тогда, когда я был во Владивостоке—об этом пришла телеграмма из Тернея. Эти десяток дней до снега люди отдыхали, собираясь в интеграле-школе и совете, говорили о своих делах, проверяли готовность собак, парт, орудий охоты.

*) Передаю его слова вольно

Моей последней беседой на Единке в Хулими была беседа с фельдшером медпункта (врач в это время был в Хабаровске.)

Фельдшер—пожилой человек. Здесь он уже пятый год. Он любит эти дикие, но очаровательные богатым разнообразием природы места и свою трудную, но такую великолепную, человеческую работу. Он горячо доказывал, что народ удэхе—в основном крепкий народ. И он, пожалуй, прав. Наносные болезни локализованы. Поколению несомненно обеспечен здоровый расцвет в обновленном гигиеной и культурой быту. Вымирание приостановилось — это доказывают журналы медпункта. Раньше эпидемии, уносившие на тот свет сотни жизней, были ежегодно. В каждой юрте непременно были больные взрослые и рахитичные ребята. Но вот уже четвертый год, как тайга народа удэхе избавлена от эпидемии. За эти годы похоронено всего 28 человек, из них 10 умерших от туберкулеза, который несомненно также будет побежден: бытовые условия в колхозе улучшаются, а природа, здоровая, полная жизненных соков, будет в этом помогать медпункту.

Народ удэхе еще расцветет вторым цветом нашего замечательного времени. Расцветет как рога изюбря, как расцвел близкий ему народ эвен, самоопределившийся, воскрешенный революцией, строящий при поддержке пролетарского государства национальный Охотско-Эвенский округ за тысячу миль к северу от стойбища «Красный удэхеец».

9

Кривулько и Ольга

В Терней возвратились вечером 13 октября.

У переезда через реку—какое-то необыкновенное суденышко. Белоснежный кавасаки с голубыми каемками, как нарядная летняя модница, стоял у причала рядом с темными, как сама ночь, колхозными катерами. Из иллюминаторов брызгал электрический свет и на белой мачте горела сильная многосвечевая лампа.

— Кто-то к нам пожаловал, — сказал Морозко, соскакивая с седла.—Посмотрим. Эй, кто есть на кавасаки? Это чей, кто приехал?

На палубе кавасаки показалась широкая фигура.

— Это я, Кантер. А вы-то кто?

— Я — Морозко...

— Бог мой, Морозко! Ну, брат, здоров будь. Вот вчера приехали, ждем тебя. Как дела там, на севере? Залезайте-ка в наш «крейсер»...

Тут, около «крейсера», я расстался, после долгого верхового путешествия, с моим рыженьким уссурийским конем. Расседланных коней повели через реку за лодкой в леспромхозовскую конюшню.

Залезли мы в «крейсер», в уютный четырехместный кубрик. Кантер, председатель красного союза рыбацких колхозов, пробовал в рейсе этот кавасаки, предназначенный для культурного обслуживания колхозов Приморья в будущем году. По пути в Терней кавасаки выдержал два шторма, шесть дней тянулся он сюда, ночами отстаиваясь в бухтах.

— Нет ли газет?—спросили мы.—Или, по крайней мере, расскажите нам, что на белом свете?

—Газеты израсходовали, извините... Но что на белом свете—сейчас узнаем. Ну-ка, ребята, настрой радио...

Треск... треск... музыка... слова... слова, слышимые ясно. Итак, слышим последние новости: был пленум ЦК, его решения... Край по новому районируется... Кровавые стычки рабочих с полицией в мировой голубятне—Женеве... Самолеты летят на разведку иваси...

В городах мы привыкли к радио, как к газете. Иногда даже сердимся на его назойливость. А вот здесь, на отлете от наших городов, я второй раз благодарю память Попова, изобретателя радио, проникшего и в такие далекие тигровые уголки, как тайга Самарги, где радио сейчас единственное живое, постоянно связывающее с далеком миром...

...Перебираемся в село спать. Кантер, прощаясь, предлагает ехать с ним до Владивостока. Что ж, я очень рад...

Решили выехать на утро, после бюро райкома Бюро уж сколько раз за это лето было не в полном составе. Многие, как всегда, в расходе—по лесам и рыбалкам. Кантер сообщил интересную новость—решено в Тернее открыть МРС — моторно-рыбную станцию, которая (как и МТС обслуживает сельскохозяйственные колхозы тракторами) на буксире государственных катеров поведет в далекое море колхозные шаланды. Хорошо,—говорит бюро. Это даже прекрасно. Речного пристанища хватит у нас на десятки катеров. Мы поможем всем, что в наших силах.

Сейчас путина начинает сплетаться с лесозаготовками, бюро решает снова обезлюдить Терней, ехать на промыслы и лесоучастки. Морозко завтра же должен поехать в бухту Джигит. Там на Пластуне, где промысел и консервный завод, сейчас самые неважные дела.

— До свиданья,—говорит Морозко,—до свиданья. Не забывай про Терней...

*

Гора Доброй Охоты скрылась за мысом. Прощай, Терней!

Взят курс на юго-запад. До наступления ночи надо быть в бухте Джигит, там заночуем. Восемнадцатисильный мотор «Табата» отстукивает шесть миль в час — пути часа четыре.

После шторма был первый такой солнечный и жаркий день. Но в море не видно еще ни одного кунгаса, шаланды, катера. На берегу еще боялись этой тишины: как бы шторм не рванулся да не ударил с новой силой. Рыбаки тернейского юга — дальневосточники молодые, переселенцы с Тихого Азова, робкие на свежий ветер, боязливо работающие на непривычных тяжелых корейских парусниках. Особенно боятся норд-веста. Это—жестокий ветер, бьющий от берега: если

не захлестнет, то бывать шаланде под таким ветром у японских берегов. За путину то таких случаев не мало.

—Э-э, да в море-то все-таки кто-то есть,—вдруг пробасил старик Щукин, наш «капитан», и показал на горизонт. Там далеко, где должен быть японский север—Хоккайдо, был виден одинокий серый парус. Мы подходили к рыбалкам колхоза «Красный партизан» и можно было не ошибаясь сказать, чьей шаланды этот парус. Это был знаменитый на весь Терней парусник шкипера Афанасия Кривулько, о котором не раз говорили Морозко и Фадеев.

Все еще были на берегу, но Кривулько и сейчас, едва стих шторм, не боясь сильной мертвой зыби, поднял парус и ушел в море.

В районе, где бы ни был, только о нем и говорят —Кривулько задает тон. К началу октября даже среди моторных судов промысла Дальрыбтреста в Пластуне нет такого судна, которое имело бы больше 500 центнеров улова при задании в 1000 цент. А он, Кривулько, второй год работающий на Дальнем Востоке, впервые сел на корейскую шаланду с квадратным парусом и уже выловил 659 центнеров—на 259 центнеров больше, чем ему было задано на весь год...

Рассказав об этом Кантеру, я прошу его распорядиться пристать к пристани колхоза «Красный партизан».

Пока знаменитый шкипер придет в бухту, мы сойдем на берег и посмотрим, как живет колхоз, членом которого зовется Кривулько.

★

Тихий Дон. Азов. Кущевка. Кисляковка. Богаевская... Виноградные, кукурузные донские станицы.

В апреле 1931 года, когда еще снег блестел на крутизнах Сихотэ-Алиня, 266 переселенцев рыбаков из

этих станиц высадились в бухте Хунтами. Бухта была так же пустынна, как и четверть века назад, когда через ее берега, трясясь в золотой лихорадке, бредя золотом и алмазами, проходили первые в этих местах белые люди—авантюристы, притянутые сюда нелепорожденным слухом о золотых и алмазных россыпях. Только тогда эта бухта и видела людей. И то не долго. Авантюристы, как вам известно, перерезали друг друга только из ревности к нераскрытым недрам. С тех пор от Джигита до Тернея так и оставалось мертвое, пустопорожнее пространство.

266 рыбаков, приехавших из теплого края, высадились на снег в Хунтами. Плохо приморский рыбаксоюз встретил народ с Тихого Дона. Такая встреча породила шатания, недовольство, ропот и дезертирство. В первые же дни двенадцать переселенцев ушли на соседние промыслы государственного треста рабочими. Но переселенческий костяк был крепок: все-таки это люди, видавшие виды, красные партизаны, не раз глядевшие в глаза Горгуловым и Шкуро, в глаза смерти. Этот костяк и спас молодой переселенческий колхоз от развала. Из Хунтами 9 мая перебрались поближе к Тернею, где есть ласковое озеро Благодатное, и с первыми же теплыми днями мая начали строиться.

Сами заготовили лес—построили два летних барака, несколько землянок, фанзочек; достали немного семян—посеяли овощи; оснастили пару первых рыбацких посуд, поставили селедочный невод. Помощь рыбацкого союза была случайной—время от времени—и очень небольшой, и поэтому первый год, как говорят, вспоминать противно. Лов был мал. Люди только привыкли к суровым темно-зеленым водам японского моря богатого рыбой, но богатого и штормами. Трудная была первая приморская зима в летних ба-

раках. За эту зиму больше ста семей разбежались по государственным рыбалкам.

Вот прошла еще одна весна и одно лето. Не узнать колхоза и не узнать этих мест. В колхозе осталось около 70 семей, но это, как они говорят сами,—надежные люди. полюбившие Тернейский берег и осевшие здесь, на узкой полосе земли между озером Благодатным и Японским морем, навсегда.

Вырос целый рыбацкий поселок—два новых теплах барака по 12 квартир, семь новых фанз, утеплили старые бараки, построили пекарню, столовую, склады, скотный двор. В канале, прорытом колхозниками и соединившем море с озером, стоят в надежном прикрытии от частых штормов семь шаланд, два кавасаки. У колхоза теперь даже свой катер. На побережьи выставлены три невода: два—на сельдь, один—на иваси.

Мы с Кантером обходим чистенькие и теплые рыбацкие квартиры. С нами—колхозники-рыбаки. В квартире шкипера Чекмарева готовятся к обеду: на столе—мясные щи, свежая картошка (сегодня копали на своем пригородном—богатая уродилась картошка!), иваси свежего посола, свежий хлеб батоном (пекут в колхозной пекарне не хуже, чем в Ростове), варенье. В колхозной столовой обедают холостяки. За 30 копеек—сытный обед, а кто хочет, бери порционное —фазан, утка, кусок козули, дикого кабана. Сдают столовой любители охоты. Ничего живут, думаю я. Как бы угадывая мою думу, старик Богаевский, сопровождающий нас, заключает:

—Переболели — выздоровели. Много было неприятностей, а теперь—приходи, кума любоваться...

★

Итак, я не ошибся. Конечно, в море была шаланда Кривулько. Как всегда после любого шторма, он

первый взял улов—около 40 центнеров, поставил шаланду в канал под отцепку и, пользуясь часом передышки, пришел в столовку пообедать и рассказать товарищам-ловцам про свой выход в море. Его здесь ждали.

Шкиперу—42 года. Его семья—жена и два сына рыбаки—живет в Азове. Только теперь Афанасий берет их сюда. Сам он живет пока в квартире у своего ученика Николая Парфенова, шкипера с третьего кавасаки.

Парфенов, как говорит Кривулько, «сел в пустой улов»: самый отсталый был этот кавасаки. А теперь подтянулся—Парфеновская команда в первые дни больших уловов привезла за два выхода в одни сутки 230 центнеров. Научил Кривулько работать.

Вот этим—уменьем, ничего не скрывая, передавать свой опыт и сноровку другим—прежде всего отличается этот тернейский шкипер от всех шкиперов Приморья. Отлично знают на промыслах и колхозных рыбалках, как бывает подчас трудно у шкиперов и ловцов, берущих хорошие уловы, допытаться, как они этого добиваются, чем. А он, Кривулько, всегда как найдет где рыбу, ведет за собой всех и учит, как надо ставить сетки, чтобы рыба их не обошла, а непременно попала.

Ловцы из соседнего колхоза «Голос рыбака» в дни, когда шаланды «Красного партизана» во главе с Кривулько привозили богатые уловы, попрежнему полоскали пустые сетки. Тогда на выучку к Кривулько на шаланду посадили двух самых отпетых шкиперов—Кривуленко и Кузьмицкого. Через трое суток они пересели на свои посуды и, всем на-диво, за первый же выход в море взяли по 60-70 центнеров.

Чему же научил их Кривулько?

— У Тернейских берегов сильные и путанные течения. Часто ловцы вынимают сетки, скрученные как мочала. Какая рыба пойдет в эти сетки? Кривулько научил их, поставив сетки по диагонали против обнаруженного течения, ни на минуту не спускать с них глаз и, как только меняется течение (а это видно по линии бочат—кривится линия), поднимать парус и выправлять порядок сетей. Сетки всегда стоят навстречу ходу рыбы. Итак, бдительно дежурить и поправлять порядок сеток—первый его совет.

— Рыбаку нечего делать на берегу; его место — в море. Кривулько учит—не возвращаться без рыбы, а искать ее и находить. У него не было ни одного прогула. Количество выходов у него вдвое больше чем у других и нет возвращений без улова меньше 10 центнеров. Отцепив рыбу и просушив сетки, он немедленно идет в море. Именно поэтому, ставя сетки в разных местах от Тернея до Джигита и на разной глубине, он всегда первым открывал ход рыбы. Итак, в море днем и ночью, искать рыбу—второй его совет.

—Найдешь рыбу—много возьмешь. А это тоже опасно—рыба своей тяжестью утопит сетки. Но Кривулько, давая на сетку самый большой улов, не потерял ни одной сетки. Его сети крепче держатся—он первый стал к порядку сетей вместе с обычными бочатами привязывать центнерные бочки. Надежней. Итак, беречь сетки, во-время брать улов, не топить, не рубить сетки—третий его совет.

Таковы и все другие нехитрые уроки шкипера. Но главное, в конце концов, в том, что этот человек вдохновляет других своим здоровым стремлением к победе, всех подтягивает и тем, что пристыдит, и деловым советом, помощью, зажигает своей натурой огонь бодрого, творческого соревнования...

Когда мы сидели в столовой, Кривулько, рассказав о себе вот это немногое, живо забросал вопросами:

—Газет-то у нас нету, обрывками подходят. А как там на Южном-то Приморьи дела? На каком мы месте стоим? Какие шаланды, какие шкипера хорошо ловят?

Рассказал я ему, что есть на промысле Зарубине ударник Ни Чан-гони. Выловила его команда больше тысячи центнеров, но у него кайе—это моторная крупная посуда, ходкая, удобная.

— Есть еще на промысле старик шкипер Ким Сен-дин. Вот с этим у тебя равные условия, товарищ Кривулько. Ким Сен-дин на такой же неуклюжей посуде, как у тебя, поймал уже девятьсот центнеров, а дерется он за тысячу двести...

Кривулько сдвинул на бок ушастую шапку. Его широкоскулое, орлиноносое, большебровое и усатое лицо смотрело на меня пытливо. Он подвинулся ближе с новым вопросом:

—А днем там стали рыбу брать?

Рассказал я ему и об этом. Рассказал, что благодаря вот таким людям, как он, как Ким Сен-дин, Ни Чан-гони, впервые в этом году удалось крепко ударить по хребту старого консервативного мнения о том, что днем рыба не идет в сетки. Идет, да еще как...

И тут уж рассказал сам Кривулько о своих колхозных успехах дневного лова. В этом деле он опять-таки был первооткрывателем: в августе как-то на рассвете, вынув пустыми с ночи поставленные сетки, он их поставил вновь и в полдень взял 40 центнеров. За Кривулько на дневной лов пошли шаланды Чекмарева, Николаева и другие. На завтра Чекмарев в бухте Хунтами взял 27 центнеров, а ночью—20. Николаев в августовский же день не успел, поставив сетки, закурить, как их задавило—подняли 84 центнера...

Когда мы прощались, Кривулько отвел меня в сторону и тихо сказал:

—А ведь я, пожалуй, от этого товарища Ким Сендина не отстану. Рыба еще пойдет крупная—1200 и я возьму на свою шаланду. Вас не затруднит, так вы передайте там, во Владивостоке, в газету и мое письмецо. Напишу я...

И вот в моем блокноте это письмецо.

Шкиперам Владивостокского района передовикам,

от шкипера колхоза «Красный партизан» Тернейского района, шаланда № 4 под названием «Красный моряк».

Шлю вам, товарищи, низкий поклон. Я назначенное мне задание в 400 центнеров взял и повысил до 500, но выловил уже к 10 октября 659 центнеров. Сам я—азовский рыбак, здесь второе лето. Так как рыбы тут не то, что в Азове — я берусь выловить тоже 1200 центнеров на свою шаланду и встретить этим близкую годовщину Октябрьской революции. Особый поклон товарищу Ким Сен-дину с промысла Старк.

Ваш шкипер А. КРИВУЛЬКО.

— Все?

— Все.

Наш «крейсер» выходил из колхозного канала, провожаемый долгими дружескими взмахами платков, шапок и мачтовых флажков. Впереди большой линии колхозников стоял высокий и бравый Кривулько. Свежий ветерок трепал мохнатые уши его шапки...

★

Вот и Тетюхэ слилось с беспредельною далью уходящих назад берегов. «Крейсер» скатывался в югу. Его «капитан» — старший штурман Щукин, кончающий свой морской век у штурвала кавасаки, и молодые ребята — моторист и матросы, не высказываясь прямо,

каждым движением показывают, что им очень хочется поскорей кончить этот рейс и стать у спокойной «стенки» Семеновской пристани. Готовы итти день и ночь. Кантер, наоборот, жалея их, собирается заночевать в бухте Тадуши, но ребята просят их не жалеть, они уверяют, что будет лунная ночь и что девятичасовой путь в Ольгу—это плевое дело.

— Ну, кройте,—соглашается Кантер и уходит в кубрик. Моторист на целую милю прибавляет ход.

Плыли мимо Тадуши, когда оранжевое солнце ушло за сопки Сихотэ-Алиня. На другом морском краю горизонта ему на смену поднималась большая оранжевая луна. Ночь, светлая и тихая, ласковая, безветренная ночь легла над океаном.

— Ну, что? Не я вам говорил, что ночь лунная будет? Экая луна-то выперла! — кричит сквозь моторный стрекот матрос Толька.—Эй смотри-ка, косяки, ивась играет!

Смотрю, куда указывает Толька, и в первый миг ничего особенного не вижу. Как всегда при луне—фосфорический блеск на груди океана. Это трепещет лунная россыпь. Но я всматриваюсь—россыпь мелькает как искровый след паровоза, бегущего ночными полями, фосфорические линии, прерываясь и путаясь, несутся, обгоняя нас.

— Ну да, иваси,—басит Кантер, поднявшийся на толькин возглас. — Тут уже ольгинские колхозы. Вот проклятые черти! В море хоть бы тебе одна сетка была —никого нет. И они еще хотят план выполнять! Ну, я им эту ночь завтра припомню...

В самом деле: кругом на десятки миль в море было пусто. Только в океане, к югу, далеко за играющими косяками послешторомовой иваси, как феерический, нездешний, маячил бортовыми огнями какой-то большой корабль.

Эта морская пустошь вернула меня назад, к Владивостоку, к столу белокурой женщины, подсчитывавшей по пятидневкам краевой итог на путине. Что происходит в Тернее, откуда там большие проценты лова —я уже понял. Сейчас, тут вот, на борту красивенького кавасаки, который скатывается от Тернея к югу и который обгоняют богатые косяки иваси, я начинал понимать, что творится в Ольге.

*

Это пробуждение было тихим как никогда. Все молчало кругом. Даже часы остановились. Широкая спина Кантера неподвижна. Наш кубрик спит. Натянув штаны, выхожу на палубу и застываю очарованный тишиной. Тишина такая, что дальше шагнуть не хочется— сапоги скрипнут. Я уже понимаю, что мы стоим у причалов в Ольге. Но до чего ж она хороша, эта красавица бухта, похожая на тихое заброшенное озеро, карасиную заводь!

Открытого выхода в море из бухты нет. Ольга отгорожена от мира. Когда-то, я вспоминаю, отсюда удирали транспорты белых, и партизаны, преодолевшие перевалы Сихотэ-Алиня, заняли Ольгу. Вода в бухте тогда кипела от пулеметного огня. До чего же, тихо сейчас, какая-то первобытная, таежная тишина! Ну пусть сейчас только пятый час утра, однакоже в этот час всюду на побережьи, особенно в бойкую пору путины, живут на полный ход и берег и море. А тут? Вон, впрочем, кто-то спускается с возом. Идет сюда.

— Э-э, друг, да это ты, Анатолька? Куда ходил?

— Туда, в город,—отвечает Анатолька.—Пусто на улицах, закрыты ставни, как словно подохли. Вот черти, даже никто нас не встретил, как пришли в бухту. Хоть всю Ольгу вывози...

— Когда пришли?

— Полтретьего, посредь ночи,—отвечает матрос и спускается в носовой кубрик тоже спать.

★

Предрайрыбаксоюза настраивал гитару. Его лицо не отражало никакого особого вдохновения. Он даже зевнул. На крыльцо, где на нижней ступеньке сидел гитарист, вышла молодая чернобровая женщина, ее руки были до локтей выпачканы в тесте. Первый взгляд чернобровой сразу же встретился с тремя нашими взглядами. Мы стояли у ворот, любуясь председательским утренником. Женщина потрогала председателя за плечо:

— К тебе! Смотри-ка!

Председатель взглянул и вдохновение моментально осенило его. Он быстро встал, чрезмерно улыбаясь, не зная, куда девать гитару.

— Положите на крыльцо, — советую я.

— Нет, занеси домой. Давай сюда, — быстро говорит чернобровая и мучной ладонью обвивает черный гриф гитары.

— Здравствуй, товарищ Назимов,—кивает Кантер. Вот к тебе заехали. Ну, как дела, чем порадуешь?

— Дела? Неважно, прямо скажу. Только вчера колхозы об'езжал. Южные. Седьмой раз об'езжал, — подчеркнул Назимов. — А я даже телеграмму послал в Тетюхе на ваше имя, чтобы заехали просил...

— Не дошла, видно, — пыхтит Кантер. Глаза его красны. Только бы он не ругался при женщине.

Мы заходим в комнаты. Пылает плита и трещит масло на сковородке. Вкусно пахнет блинами и гусем. Стены словно засижены мухами, так много мелких «пятиминутных» фотофизиономий. Бросаю взгляд на письменный стол и вижу конченную «пульку» с подведенным итогом и одну забытую карту...

★

Идем вниз по каменистой улице. Ольга ожила. Ходят люди и поросята.

— Вот ты—корреспондент, — бормочет Кантер.— Ты можешь по праву написать, что мы в крайсоюзе не прощупали ольгинского руководства. Да, дрянь люди, едри их! Но ведь из Москвы приехал с путевкой на руководящую районную работу и еще такие фертывыверты загибал, заявил даже, что района ему мало, что он—масштаба пошире. Ну, думаю, ладно, пусть поработает. И вот на тебе. Ведь такой богатый район, тут всегда перевыполняли план...

★

В самой большой комнате райкома заседает бюро. Нехватило стульев, собранных со всего райкома. Очень много, оказывается, в Ольге людей. Даже на бюро. Управдел приносит пачки папирос «№ 6», раздает и собирает по полтора целковых. Закурили. Началась деловая часть. Назимов развернул скоросшиватель «Светоч» и начал очередной—как здесь говорят, тридцатый по счету—доклад о положении на путине. Ловлю его слова так, как он ловил рыбу.

— 29 процентов годового плана... Странный ход рыбы... Нет и нет... Раз восемь об'езжал колхозы... Неважно с организацией труда... Не знаю, какого еще надо руководства... Не таким делом руководил... Спецодежды нет — это верно... Рыба, по моему, обошла Ольгу... Никто не помогает, надо сказать... Один — кругом один... Я, уеду в Москву...

И так далее и тому подобное.

Пока плакался москвич Назимов, передо мной встал образ москвича Илькова, председателя колхоза «Голос рыбака», работающего на тернейском берегу. Ильков в одном поезде с Назимовым приехал на Дальний Вос-

ток. Строить форпост. Послала партия. Илькова я видел днем и ночью в теплушке и резиновых сапогах, с клочком потных волос, выбившихся из-под кожаной авиатки. Он «горел путиной» — как любил выражаться Морозко. В шторм и ливень, в тишь и гладь, он как и теплоазовец Кривулько, такой-же новый дальневосточник, все свои движения тратил на то, чтоб колхоз не отстал от «Красного партизана». Ильков тоже вспоминал про Москву. Как-то раз, сидим мы с ним, ждем лодки переправиться через реку, он и говорит: «У меня есть в Москве хороший один товарищ, на заводе им. Ильича парторганизатор в цеху. Мы вместе были красногвардейцами. Я ему так описал за свою тернейскую жизнь, что он пишет ответ—жди, брат, поставил вопрос в партколлективе, хочу в Терней. Вот бы приехал. Красота!

Однако Назимов кончил

— Кто хочет преть? Развязывайте языки, товарищи! Что вы скажете после тридцатого доклада? Неудовлетворительно? Принять меры?

— Ну . ка, я скажу,—встает первый оратор.

Ах, ты, Ольга-Ольга! Так вот ты какая! Ораторы говорят, и я записываю. «Врет Назимов, что ездил восемь раз в колхозы. Всего раз, и то весной. Некогда. Организует «пульку». Колхозы без руководства. Дневного лова нет и ночной-то идет наполовину. Все просился в Москву, говорит, что у вас тут в Ольге скучно жить. Нет спецовки, а в складе что? Очки втирал. В колхозах почти нет бригад. Самотек — самотек—самотек—само... Слишком долго верили на слово. Эх, шляпы! Признать эту ошибку. Решить. Что решить? Исключить Назимова из партии, расследовать, под суд. Стыдно за партбилет, когда он у такого... и наконец— всем броситься на путину. Рыба еще идет. Наверстать — наверстать — наверст...».

*

Захожу по пути к бухте, на телеграф. Ольгинский телеграфист смотрит понуро — долго слова считать, а считать надо дважды. Раз, два.. двадцать.. сто... сто сорок... Раз... четыре... тридцать восемь... сто сорок...

Другой телеграфист берет оригинал и садится за клопфер. «Ту-ту-ту... Владивосток, Владивосток, принимай корреспондентскую Хабаровска тчк Абзац».

И вот выдержка из газеты:

ОЛЬГА, 18 (наш корр.). Вчера бюро ольгинского райкома, заслушав тридцатый доклад председателя райрыбаксоюза Назимова, ничем существенно не отличавшийся от 29 предыдущих, решило наконец покончить с оппортунистической практикой руководства ольгинскими рыбацкими колхозами, о которой мы сигнализировали ровно два месяца тому назад, 19 августа, в статье «Об ольгинских колхозах и о рыбе, которая дура». Бюро постановило председателя райрыбаксоюза Назимова снять с работы, исключить из партии и предать суду за срыв путины. Фракции союза об'явлен выговор.

План путины колхозами района к половине октября выполнен лишь на одну четверть. Назимов, который на путине с января не бывал, увлекаясь в Ольге оборудованием собственной квартиры и еженощной игрой в преферанс, с самого плохого начала лова иваси в своих очередных докладах, благодушно успокаивал райком, заверяя: «Нечего бояться — путина не в опасности, еще времени много, за 2 с половиной месяца мы все перекроем».

Понадеявшись на чародейские способности Назимова, райком партии время от времени предостерегал его об ответственности, но под свое неослабное наблюдение и конкретное руководство путину в колхозах, однако, не взял до последнего времени.

Только в такой обстановке излишней веры на слово мог случиться такой вопиющий по своей наглости факт, как отказ

ольгинского райрыбакколхозсоюза от договора на соревнование с Тернейским районом, колхозы которого ловят рыбу в четыре раза лучше ольгинских.

Отказываясь от массовой работы в колхозах, от подлинной деятельной борьбы за план, горе-партийцы в ту же пору усиленно муссировали, якобы, мнение «старых рыбаков» о том, что «рыба обошла Ольгу». Вот Совгавань, Терней, с севера и Сучанский район с юга ловят, а Ольга вроде как проклята, дура-рыба обходит ее сторонкой...

Между тем рыба не меняла маршрутов, не обходила и не перепрыгивала через 150 миль, а спокойно то поднималась вверх, то спускалась вниз, не встречая сеток. Дело в том, что нигде так не игнорировался дневной лов, как в Ольгинском районе. Здесь даже не использовали полностью все единицы на один выход. Колхоз имени Андреева, например, вместо 72 выходов за три месяца сделал всего 37. Точка.

★

Сейчас вот просмотрел все написанное. Замечаю у двух очерков одинаковый конец — встреча с их героями во Владивостоке. Ничего не поделаешь. Все пути с побережья ведут сюда, в этот головной нерв путинной страды. Тут уж встреч не избежать—приезжие с моря всегда ходят по главной улице. А она одна — длинная, Ленинская, вокруг Золотого Рога, от Амурского залива до Гнилого угла. Для приезжих с путины на две трети короче—от Версаля до Востокрыбы.

Я это к тому говорю, что тут же, на этой улице, произошла еще одна встреча с одним героем. Был ноябрь. Накануне 10-летия советизации края и 15-летия Октября над всем заливом Петра ревмя ревел ледяной тайфун. Теплые улицы города за один час окутались в синеватую пушистую шубу. 7 ноября городские коллективы чистили улицы, сгребая снег в высокие брустверы по краям. Парад и марш рабочих, пехотин-

цев, артиллеристов, танков, кавалеристов, моряков был 8 ноября. Вечером я спешил на вечер партизанских и красноармейских встреч в театре им. Горького. Гололедица. Так неприятно проталкиваться сквозь праздничную, веселую толпу.

— Чего ты так зверски толкаешься? А-а, товарищ Морозко-о! Ну тебя можно простить. Ты—тернейский...

Передо мной, недалеко от освещенного подъезда театра стоял Морозко, одетый по-зимнему, в полушубке и шапке...

Он завтра едет «в край», как здесь говорят. Собирается важный пленум крайкома. Край по-новому районируется. Будет четыре области. Кроме того кончилась путинная страда, начинается лесная...

★

— Тебе бы вот такую комнатку в Тернее, — говорю Морозко, оглядывая чистенько прибранный, светлый номер в Версале.

— Ничего, будет, — огрызается Морозко. Он не любит сравнений. Он прямолинеен.

— Давай, друг, поговорим лучше о том, что есть. Когда вы уехали на «крейсер» Кантера, а мы только только очухались от знакомого тебе шторма, иваси понемногу ловилась, вдруг ударил еще один штормяга. А октябрь уже идет к ноябрю. У нас же нет еще 9-ти последних процентов плана. Хоть стенки царапай. Надсадились мы от штормов. Ждем. В колхозах уже бузят —свертывайся, кончился ивась, не жди больше. Ждем. Хорошо. Шторм стих. Но кругом такая серятина, что и я начинаю верить в то, что мы так на 91 проценте и сядем. Вдруг утром 29 октября приезжают из «Красного партизана». Так и так, товарищ Морозко. Кривулько сегодня на рассвете в километре от берега, прямо в вашей тернейской бухте взял 70 центнеров

Шкипер наткнулся на ход. Оповещай побережье. Шлем телеграмму: «Кривулько поймал после шторма 70 центнеров тчк рыба у берегов зпт ставьте сетки по диагонали на глубине сажень-полторы в километре берега тчк. Обязательно выходите лов два раза или гоните флот под Терней». Ну, и, конечно стали рыбу прямо черпать. За пятидневку по району поймали 15.000 центнеров. Готово—все сто!

★

Это был последний, самый поздний ход иваси. Третьего ноября в Тернее собрался пленум райкома. Обсуждали итоги путины и переключались на лес. Заседание затянулось. При свете керосиновых ламп шел деловой разговор. Морозко сидел в президиуме. Скрипнула дверь, и, сливаясь со своей большой тенью, перед пленумом вырос Кривулько. Увидав много сидящих полукругом людей, он смутился и, сняв шапку, посмотрел на Морозко. Морозко подозвал шкипера взглядом и плоским взмахом ладони. «Чего?»—спросил шопотом секретарь. Шкипер взволнованно зашептал: «До партии я пришел, товарищ Морозко... Такой вышел случай—на отцепке зашивка. Я сюда в Терней привез улов поболее ста центнеров... да еще другие ребята... с полтыщи центнеров... Подмогу надо, чтоб не пропала рыба».

Морозко встает лицом к пленуму.

— Товарищи! Срочное дело. Предлагаю прервать заседание и броситься всем активом на отцепку. Богатый улов. С полтысячи центнеров. Один ударник Кривулько привез больше ста центнеров...

— Это Кривулько? — крикнул голос из зала.

— Это Кривулько... он самый... лучший наш шкипер... (но голоса Морозко уже не слышно. Пленум аплодирует шкиперу. Шкипер свел над переносицей

щеточки густых азовских бровей. Он взволнован почетом и кроме того его ждут на причалах...).

— Так что-ж, товарищи? Голосую за предложение. Кто «за»? Ну, так ай-да на отцепку. Идем, Кривулько!..

— ...В Тернее еще не было такой ночи,—продолжает Морозко свой рассказ.—Больше ста человек из нашего актива работали до рассвета. На причалах горели факелы и «летучие мыши». Мы соревновались с Кривулько. Но, кто его догонит?! Дьявольская производительность! В шестом часу кончили отцепку. Говорю Кривульке: «В колхоз пойдешь?».—«Нет, — отвечает,—попробую еще поставить сетки»—он поднял паруса и пошел к морю, за мыс...

О любви и равнодушии

вместо послесловия

I

С Бонашкевичем мы живем в одной гостинице. Я—журналист, он—директор одного из владивостокских трестов, член партии, даже секретарь «своей» ячейки, молодой, очень мускулистый, сильный человек. Здесь свело нас бесквартирье—город растет безудержно, за ростом населения никак не поспевает рост стен, потолков и окон новых домов. Город снова становится центром Приморской области, центром наиболее населенного, изведанного, промышленного куска Дальне-

восточного края. Уже создаются областные органы, приезжают новые сотни, может быть тысячи людей.

Ключом всюду кипит жизнь.

Все сильней напрягается творческий мускул растущей партийной организации, растущего колхозного крестьянства края над осуществлением большевистских планов.

Меняется карта края.

Кружочки новых предприятий, электростанций, МТС, шахт, новых сел и городов теснят белые пятна.

Бьется новая жизнь в тайге около еще год назад дикого и никому неизвестного села Пермского. Здесь Дальпромстрой — будущий гигант судостроения. Здесь растет Комсомольск — новый город.

И в степи под Спасском.

Здесь Цемстрой — будущий гигант производства цемента.

В степи под Никольск-Уссурийском. Здесь Сахарстрой — будущий гигант сахароварения.

У станции Озерные ключи. Здесь закончили в рекордный срок проходку новой гигантской шахты Артема. Она должна давать в год миллион тонн угля. Тут вокруг шахт меж сопок вырос новый город имени первого вождя революционных горняков,—товарища Артема.

На далеком Сахалине. Здесь пошла в ход еще одна буровая и льет черное золото нефти новый фонтан.

В Тернейской тайге. Здесь колхозники, выполнив план по рыбе, сквозными ударными берут у тайги лес для строек края и на экспорт, на валюту.

И на далеком острове Беринга. Здесь строят первую школу для алеутов, готовят к весне первый трактор.

У островов Малого Хингана. Здесь гудят станки глубокого бурения — ученые ищут руду, точно под-

считывают ее запасы для будущего дальневосточного гиганта металлургии...

Жизнь, кипучая жизнь на каждом градусе, на каждой параллели.

Столетия владел краем царь, руками своих сановников, генералов-вояк, купцов и попов. За целый век уложил на скелетах колодников Амурскую колесуху, построил на ее линии казармы, тюрьмы, кабаки, лавки и лачуги принудительно поселенной бедноты, пролил реки народной крови на сопках Маньчжурии и воздвиг купецкой мощью одно диво у бухты Золотой Рог — город растовщиков, спекулянтов, проституции, национального угнетения.

И только десятилетие владеет краем пролетариат, в трудностях, оставшихся от царя, Муравьев-Амурского, Гондатти, Меркуловых, Дитерихса, Хорвата и адмирала Като, строя тихоокеанский форпост социализма. И за это десятилетие пролетариат сделал столько, что не снилось всем поколениям царских колонизаторов.

Край вступил в ярчайшую полосу своей истории. Здесь, в этом крае, есть что полюбить навсегда. Есть на что отдать свой разум и силу. Не правда-ли?

Но Бонашкевич, мой сосед, мне об этом не говорит. Он говорит о другом:

— Знаешь (и он берет меня за пуговицу), до чортиков мне здесь все надоело, ну все опротивело, дыра — дырой, истосковался, я, брат, по культуре...

— Гм, куда же тебя тянет?..

— Эх, чорт (и он поднимает растопыренную руку)! Тянет меня на Северный Кавказ. В какой город ты мне советуешь? Ты ведь там бывал, газетная крыса?..

— Бывал, конечно... А чего тебя туда тянет?..

— Читаешь даже газеты и то чувствуешь размах — вот живут! (и он показывает — на большой палец!). Ну, а потом (и он хитро подмигизает) тепло, брат, круглый

год солнышко, пляж, песочек, фрукты, да, наконец, чорт подери, все там есть, не то, что в этой дыре. И кроме того, хватит, знаешь (он, как видно, решил мне выложить душу), я тут поработал, пускай другие поработают. Я уже стал равнодушным до всего. Положительно до всего...

— Ну а где, по-твоему, ты нужен?

— Э-э... (и он опять поднимает руку и решительно режет ею пространство) нынче везде нужен! Что ты думаешь: работы не будет?

— Нет, я не в том смысле, ты не понял. Я хочу сказать, что тут-то нужней всего каждая пара рук. Тут форпост, передовая линия, да и интересней к тому-же. Стыдно как-то доказывать это тебе, ты же секретарь ячейки, директор треста...

Но Бонашкевич меня не слушает...

А ведь не он первый. Сколько раз я слышал такие дурацкие речи в этом году? Много что-то. И кто говорил? Да все почтенные люди и беспартийные и с партбилетом, видные и малозаметные. Говорили, ну точь в точь как Бонашкевич. Что же им тут опротивело? Я некоторое время ищу ответ и нахожу его. Это оказывается не трудным делом. Этот ответ я часто встречал в газетной фразеологии: бегут Бонашкевичи от трудностей, социализм в перчатках не строят, да особенно в этом крае, за 9.000 километров от сердца страны...

Но ведь до чего это позорно!

Ведь только подумать: убежать так вот — обыкновенно с мыслишкой «лучше устроиться»—из края, где делается чудеснейшая страница его истории, где с боя, буквально с боя, и конечно, с трудностями, которые есть в каждом бою, осваиваются его неисчислимые богатства.

Вот об этом, обыкновенно, не думают, когда гово-

рят: «Я здесь уже долго, хватит, поработал, пускай другие поработают». Быть может, люди, говорящие это, и занятия такого не знают: думать? Иначе бы, подумав, поняли, что время — времени рознь, что они пробыли на советском Дальнем Востоке в его детские годы, годы слабых темпов. Партия мобилизовала силы, чтобы выстроить крепости социализма на Урале, в Сибири, на Днепре, в Ленинграде. Победив там, партия все больше и больше внимания и сил бросает сюда—строить тихоокеанскую крепость социализма. Здесь пришла долгожданная, историческая пора социалистического строительства и здесь дорог каждый мускул, каждая складка деятельного мозга.

Но вот кому-то скучно. А скучно-то все им же, так называемым «механическим гражданам», которым уж очень хочется, во-первых, чтоб они сами ничего себе не делали, но чтоб для них все было; во-вторых, чтоб пекло солнце—загорать круглый год; в-третьих, чтоб «не отставать от культуры»; в четвертых (для революционности!), быть поближе к великому размаху, стоять, как это вам сказать, плечо к плечу со строителями Днепростроя...

Слов нет—великая честь работать плечо к плечу со строителями Днепростроя. Но сейчас еще более великая честь тому, кто за темпы строителей Днепростроя бьется плечом к плечу с бригадиром Загорским на Седанстрое, дающим тройную норму кладки кирпича, с тернейским шкипером Афанасием Кривулько (а он, обратите внимание,—с Северного Кавказа, с теплого Приазовья!), который дал краевой рекордный вылов рыбы на парусник—1200 центнеров, плечо к плечу со всеми ударниками, строящими новый Дальний Восток—крепость социализма на Тихом океане.

Надо полюбить край, его будущее, полюбить самоотверженно. Надо всем миром, всей миллионной

массой добиваться, чтобы «все было» у нас тут у самих, не ожидая манны с неба. Край так неистребимо богат. Все в наших руках. Надо только честно трудиться, чтобы эти богатства овеществить. Надо общей силой коллектива оправдать доверие и надежды всего пролетариата СССР и угнетенных мира, особенно ближайших нам стран, для которых мы—маяк надежды, веры в будущее, их тихоокеанский форпост.

II.

Только колонией старой России был этот край полтора десятилетия назад. Своей необ'ятностью, необжитой суровостью он пугал царских «завоевателей». Мечтая по разному «о могуществе и блеске русского имени», подходили они к незамерзающим портам и «не знали, что же делать дальше?».

А в общем сходились на одном. 175 лет назад московские «ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие», писали в одной из своих «увеселительных» историй «про страны, при реке Амур лежащие». Тогда и был произнесен первый приговор этим странам: **«Сии земли годные токмо для вывоза «дани» и ссылки государственных преступников».**

За все 175 лет **ничего** в этом приговоре царизм не **изменил.** Следуя ему, он сделал край великой каторгой, где сгнили целые поколения борцов за освобождение от самодержавного ига. Три миллиарда 50 млн. золотом денег, добытых потом и кровью трудящихся, истратил царизм на свои колонизаторские подвиги, изрубил в мясорубке войны за овладение краем с другими империалистами сотни тысяч жизней и ничего не создал кроме крепостей, тюремных замков, казарм да каторжного тракта.

Задуматься над судьбой природных богатств края царизму недосуг. Царские администраторы выколачи-

вали себе «дани» и «имели наблюдение за ссылкой». И не имел он ничего своего, этот край, про природные богатства которого ходили легенды «о последнем дне работы создателя», который, заселив, озеленив, обогатив всю землю, забыл этот кусок земли, от границ Кореи уходящий к северным морям. Взял он тогда все, что осталось в лукошке,—говорит эта наивная легенда,—и высыпал на эту землю. Отсюда, мол, и все контрасты в природе края: полосатый тигр и таежный медведь; северный кедр, а рядом дикий виноград, лимонник; уголь, выходящий наружу, и полиметаллические руды, содержащие в одном куске медь, серебро, свинец, цинк...

В этот край, где может вызревать любая культура от пшеницы до риса и чайных деревьев, где лучшие в мире пастбища пчел, прерии для огромных стад скота, где могут жить и лошади и буйволы, и як,—ввозилось все, вплоть до соли и сахара.

За все свое многолетнее хозяйничанье в крае царизм в геологическом отношении узнал всего лишь полтора процента его территории. Сейчас мы знаем на 2½—3 процента больше. Но на геологической карте края еще 95 проц. таинственных пятен. Мы ходим по неведомой земле.

Однако титульный список и того, что открылось на исследованных 4-5 процентах, достаточно велик. Уже известны 280 угольных месторождений, 76 железорудных и марганцевых, 22 нефтяных, 206 свинцовых, цинковых, медных, 32 графитных и т. д., и т. д.

Эти данные начала 1932 года. А в декабре поступили новые. Только Зейская экспедиция Гидроэлектростроя, определявшая место для плотины будущей гигантской гидроэлектростанции, рапортует о том, что ею обнаружены в районе Верхней Зеи **15 месторожде-**

ний железных руд, 18—меди, 3—свинца, 3—асбеста, 5—угля, 6—слюды, 2—полиметаллических руд...

КРАЙ ИМЕЕТ уже точно известных:

— 2 МЛРД. ТОНН КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ НА САХАЛИНЕ, половину запасов Донбасса на Средней Бурее, несколько млрд. тонн на Верхнем Суйфуне, 290 млн. тонн бурых и смоляных углей Артема и Тавричанки, богатый пласт Кивды и Райчихи.

— 78 МЛН. ГЕКТАРОВ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ, с приростом 70 млн. кубометров ежегодно, что равно 12 проц. лесов всей страны. А леса-то какие —лиственница, кедр, ель, пихта, лимонник и бархатное дерево.

— Могучая сила рек, которая может дать 62 МЛН. КИЛОВАТТ ЭНЕРГИИ. ГИДРОСТАНЦИИ—на Амуре, Бурее, Сунгари, Даубихе. Зея станет судоходной и даст возможность освоить новый нешуточный земельный массив—14 млн. га.

— МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ СТРОЙМАТЕРИАЛА, белых глин, извести, кварцевого песка, туфа, трепела, пемзы, цемянок.

— Даже на Севере могут прекрасно расти все овощи. А на юге края возможно промышленное производство сахара. Южное Приморье ежегодно может давать 6 МЛН. ЦЕНТНЕРОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. К тому же ДВК не знает неурожаев сои. Из болот на поля выносится суходольный рис.

— 560 МЛН. ТОНН ЖЕЛЕЗНЫХ РУД МАЛОГО ХИНГАНА, что в союзе с углем Буреи—база для металлургии. В этой руде 49-50 процентов содержания железа. На 120 километров простирается рудоносная толща.

— ПЕРВОЕ МЕСТО В СОЮЗЕ ПО ПУШНОМУ

И ЗВЕРОБОЙНОМУ ПРОМЫСЛУ. Треть всего поголовья оленей страны.

— Неистребимые богатства морей. ДО 15 МЛН. ЦЕНТНЕРОВ РЫБЫ может давать рыбная индустрия края.

Это еще далеко не полный урожай с дальневосточной земли, который пойдет в закрома второй пятилетки.

КРАЙ ДОЛЖЕН ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ:

— ДОВЕСТИ ДО 3-3,5 млн. человек население; **с 980 тыс. до 2 МЛН. 500 ТЫСЯЧ ГА УВЕЛИЧИТЬ ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ,** из которой треть под лен, коноплю, свеклу—сырье для новых заводов и фабрик сахара, текстиля, такелажа;

поднять урожай зерновых **с 8 центнеров на гектар ДО 12 ЦЕНТНЕРОВ;**

окончательно ликвидировать **хлебный дефицит:** за счет завоза с Севера оленей, мясо которых питательно и вкусно, **ликвидировать дефицит в мясе;**

добычу рыбы **с 3,5 млн. поднять ДО 12 МЛН;**

ЗАГОТОВЛЯТЬ 25 МЛН. КУБОМЕТРОВ ЛЕСА вместо 8 ежегодно;

довести добычу угля до 14-15 млн. тонн,

нефти—ДО 2 МЛН. ТОНН;

с 15 тысяч киловатт ДО 400 ТЫСЯЧ поднять энерговооруженность края;

ПОСТРОИТЬ БОЛЕЕ 4000 КЛМ. новых железных дорог;

ПОСТРОИТЬ первый металлозавод на Малом Хингане НА 700-800 ТЫСЯЧ ТОНН ежегодно.

К этому что ли вы так равнодушны, Бонашкевичи?

III.

Сейчас у нас в крае очень много новых людей. Сотни тысяч людей приехали из центральных республик, областей, краев Советского союза. Население ДВК уже близко к цифре 2.000.000 человек. Несомненно, что среди огромной массы новых дальневосточников есть множество очень хороших партийных и беспартийных товарищей. Они прекрасно учитывают особенности края и готовы ради его будущего, которое они и призваны завоевать, перенести временные лишения и недостатки, своими руками устраняя их.

Но попрежнему очень опасны и все случайные элементы, проникающие в край затем, чтобы проехаться за государственный счет, взглянуть на уссурийских тигров, которые, как им говорили, выходят гулять на улицы Хабаровска, и уехать; за тем, чтобы, заключив выгодный договор, отмантулить срок, подкопить деньги, получить многомесячные отпуска и оговоренные льготы и опять-таки уехать. Этих туристов за счет края за один только год мне по роду своей службы пришлось встретить сотни. Многие из них бессовестно откровенны. Еще по дороге в Хабаровск соседям по долгому пути исповедничают:

— Давно меня, знаете, интересовал этот край. Уссурийские лианы, удавы, близкий Китай, жень-шень, интернациональный Владивосток... Вот, наконец, решил проехаться. Пошел в представительство—нужен такой-то в ДВК? Нужен. Так вот такие-то условия. Год работы—три месяца отпуска, две командировки. Согласились. А вы?

— Да тоже еду по договору. Боюсь вот—не выжить год в такой глуши, как бы не смыться раньше. Ведь подумать только—десятые сутки едем. Я с собой даже чемодан взял, с которым в командировки ездил.

— Посмотрим. Худо если будет, сейчас-же заявляю: ага, договор не выполняете! Деньги на бочку и назад! Но это, знаете, все-же путешествие на всю жизнь, ведь четверть земного шара опоясываем, чорт возьми! Красиво. Смотрите, вам нравится эта дикая долина, эти сопки?

Многих дальневосточников, даже не старых и не из тех, что дрались за советский ДВК, коробит от цинизма этой саранчи. А она как будто не замечает. Словно одолжение делает, приезжая грабить край, а не строить его.

Недавно сижу я в редакции, заходит некто по фамилии Чибур — только что приехал в край работать по договору. Разговорились. Вдруг спрашивает:

— Давно вы на Дальнем Востоке?

— Второй год.

— Так... Что-же, срок кончается?

— Позвольте, — я не в ссылке...

— Так, вероятно, по договору. Мы с женой на 2 года, ей очень хочется повидать край, поездить.. Начиталась Арсеньева — тигры, кошки, удэхе... А тут у вас, знаете, хуже чем у нас на Украине...

У нас. У вас. Словно в какую-то чужую Патагонию, прибыл, дикую и варварскую. Словно здесь для всех этаких туристов должны быть заготовлены мягкие перины, мед и молочные реки.

То, что у края раньше не было патриотов, любивших его от всего сердца, — это понятно. На Дальний Восток смотрели как на жирный кусок «богом данной» земли, где можно поднажиться. Ехали сюда как и всякие капиталистические колонизаторы во всякую колонию с этой жадной мыслью.

Сейчас пора другая. Произошли всемирно истори-

ческие перемены, которые по иному поставили вопрос о ДВК. Если раньше край был жирным куском, разжигавшим частнособственнические аппетиты крупной и мелкой российской буржуазии, которые однако в силу неосвоенности края не шли дальше стремления «урвать», то теперь ДВК вот уже 11 лет является неотъемлемой частью Советской страны, где господствует советский строй, основой которого является общественная, социалистическая собственность.

Большевики стали первыми патриотами этого края. Большевики первыми полюбили его и заменили частнособственнический лозунг лозунгом социалистическим: «Превратить ДВК в форпост социализма на Тихом океане!» Большевики доказали, что ДВК имеет внутри края все богатства, планово овладевая которыми край сможет не только не быть нахлебником страны, но и помогать стране. И большевики организовали и повели за собой многотысячные массы старых и новых дальневосточников в сражения за индустриально-экспортный край.

Уже в те четыре исторических года в которые большевики ДВК со всей пролетарской страной боролись под знаменем первой социалистической пятилетки, достигнуто многое для под'ема края на желанный уровень.

Особенно показательны результаты социалистического строительства в крае, когда учтем место ДВК во всем народном хозяйстве Союза. Всего лишь 5 лет тому назад наш край весьма мало значил для Союза, а в 32 году, составляя по населению всего лишь 1 процент к населению Союза, ДВК занял 2 процента по добыче угля, 3 проц. по рубке леса, 5 процентов по экспорту, 6 процентов по пушнине, 15 процентов по золоту и 24 процента по вылову рыбы

Но главное—впереди. И это главное вместе со ста-

рой когортой дальневосточников призваны сделать и новые люди в крае.

Край, вступив во вторую пятилетку только поднялся на решающие ступени индустриального строительства новых крупнейших предприятий. Уже в 1933 году он должен провести капитальное строительство новых крупнейших предприятий на 40-50 проц. больше чем в 32 году, на 20 проц. засеять больше полей.

Одновременно с этим надо вести и бытовую реконструкцию и строительство. Тесные, грязные города, сохранившие облик старых военных поселений и уездных слободок, надо культурно преобразовать, построить все то, чего требует культурный рост трудящихся.

Под'ем труден, он с препятствиями. Мешают многие об'ективные трудности роста края, недостает того, другого, малолюдье, одна единственная железная дорога, плохая связь, и всюду вредит классовый враг, недобитый дальневосточный кулак-колонизатор и эксплоататор, который, маскируясь на разный манер, сует палки в колеса краевого воза.

Там, где любовь, —там должна быть и ненависть. Всякий, кто искренно, честно любит край, должен проникнуться глубокой, страшной ненавистью ко всем его врагам. Чем сильней ненависть —тем острей глаз и чутье, тем легче нащупать и поймать врага. Вот почему нет в нашем крае места равнодушию, вот почему равнодушие нам враждебно, вот почему краю нужны не гастролеры, а патриоты, которые бы, не отступая, горели одним стремлением со всем растущим коллективом его строителей — победить во что бы то ни стало.

Апрель 1933 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие *1*
1. *Остров сардин и пантов* *1*
2. *Два выхода в открытое море* *21*
3. *Путина в проливе Старка* *38*
4. *Охотники крабовых полей* *53*
5. *Поиски Тернея* *77*
6. *Новости в долине Белембэ* *102*
7. *Путь великой Кемы* *124*
8. *В стойбищах „Красного удэхейца“* *149*
9. *Кривулько и Ольга* *186*
О любви и равнодушии (вместо послесловия) *206*

Издательство ЦК ВКП(б) „Партиздат“
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

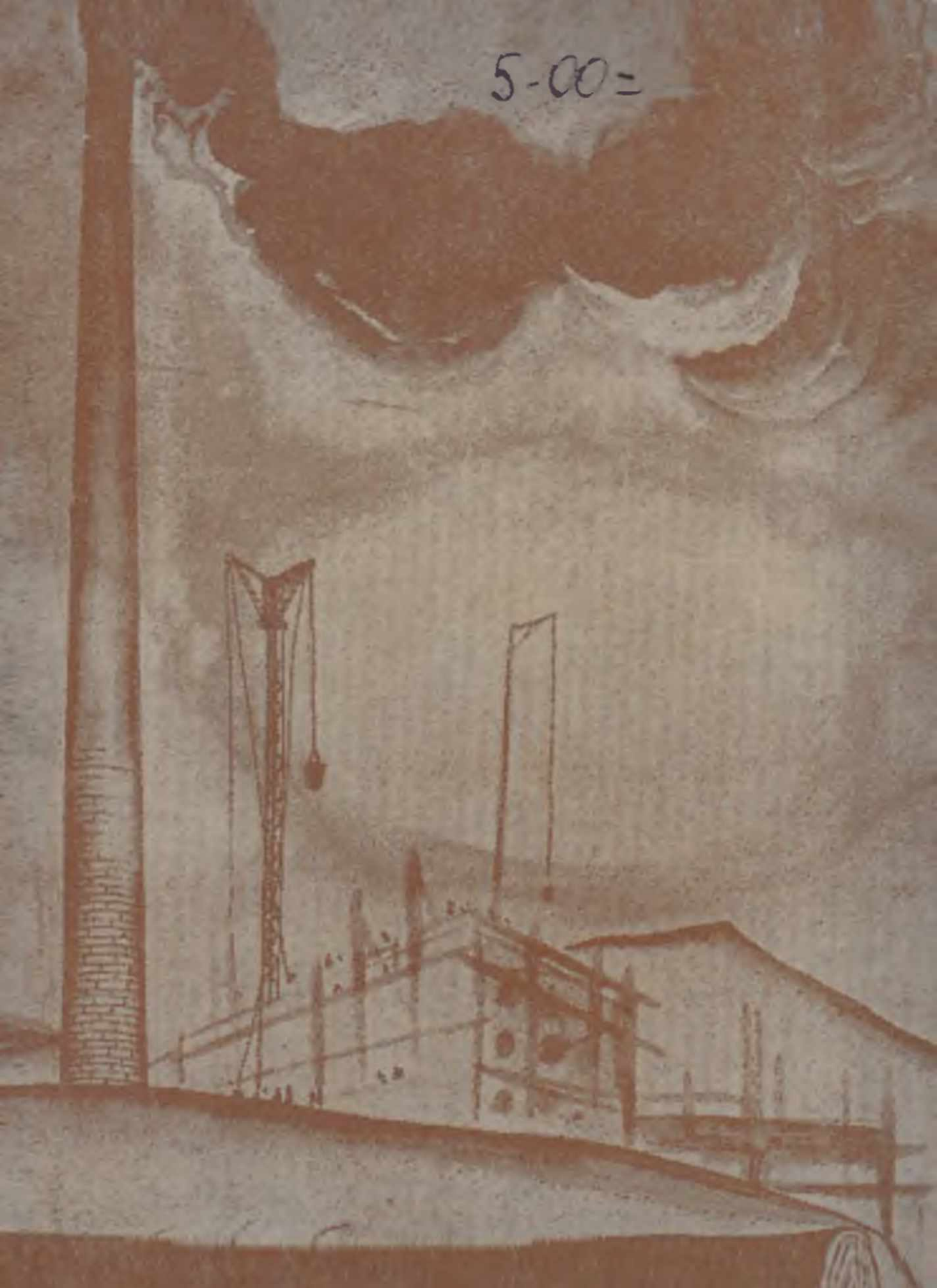
НАХОДИТСЯ В ПЕЧАТИ
КНИГА
С. ЦЫПКИНА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ БОЛЬШЕВИКИ НА ПУТЯХ К ОКТЯБРЮ
(12—15 печ. листов)

Книга т. Цыпкина „Дальневосточные большевики на путях к Октябрю“ дает общее представление о социально-экономических предпосылках Октября, освещает ход событий февральской революции, образование Советов, оформление легальных партийных организаций, борьбу большевиков с мелкобуржуазными партиями за диктатуру пролетариата и, наконец, освещает период Октябрьской революции на ДВ.

По существу—это **первая работа**, дающая более полное освещение истории Дальневосточной партийной организации (1917—18 г.г.).

Книга рассчитана для партийного актива, сети партпросвещения и может быть использована в качестве пособия для вечерних комвузов, рабфаков и техникумов по изучению истории ДВ партийной организации.

Изложение истории партийной организации относится не только к Дальневосточному краю в настоящих его границах, но также и к Забайкалью, т.е. значительной части Восточно-Сибирского края. **Следовательно, эта работа представляет также большой интерес для Восточно-Сибирской парторганизации.**


5-00=